

Впервые в свободном доступе для скачивания настоящая книга правды о Комсомольске от советского писателя пропагандиста Геннадия Хлебникова. «На пределе»! Документально-художественная повесть о Комсомольске в годы войны.

Если книга вам понравилась у вас есть возможность выразить доступную материальную благодарность наследникам писателя, его семье:

Карта Сбербанка: 4276 8700 1457 4177

Киви-кошелек: +7 962 296 9327

Хлебников Г. Н.

«На пределе». Документальная повесть. — Комсомольск-на- Амуре, 2002.

Повесть «На пределе» является продолжением повествования «Испытание доверием» о кирпичном заводе, его коллективе, трудом которого построены заводы и жилые кварталы города юности.

Особенностью творчества Г. Хлебникова является строгая документальная основа всех его произведений, что особенно ценно в изучении подлинной истории города.

© Хлебников Г. Н., 2002 г.

ВСТУПЛЕНИЕ.

Первостроители Комсомольска называли свой молодой город на Амуре «форпост обороны на Дальнем Востоке». Именно эта идея вдохновляла их на самоотверженный труд, помогала преодолевать немалые лишения, особенно в первые годы строительства. Люди жили в ветхих бараках, скудно питались, довольствовались ватной фуфайкой, многократно чиненной обувью. Еще в канун Великой Отечественной войны город представлял собой отдельные барачные поселки, разбросанные в поредевшей от корчевки тайге, сильно заболоченной. Сам город еще предстояло выстроить. Но заводы — судостроительный, авиационный, ради которых прибыли на Амур тысячи молодых строителей в 1932 году, уже были построены и выпускали нужную стране продукцию: корабли для военного Тихоокеанского флота, боевые самолеты. Кстати, в первые дни войны бомбардировщики, построенные авиастроителями Комсомольска, бомбили Берлин... Вели охрану морских границ на Дальнем Востоке надводные и подводные корабли, построенные амурскими корабелями.

С первых же дней войны тысячи комсомольчан ушли на фронт защищать Родину от фашистов, а оставшиеся в городе трудились с удвоенной силой, воодушевленные призывом: «Все для фронта, все для победы!». Полным ходом продолжалось строительство новых промышленных предприятий, расширение уже действующих: судостроительного и авиационного. В годы войны построены и вступили в

строй первенец Дальневосточной металлургии завод «Амурсталь», заводы нефтеперерабатывающий, «Амурлитмаш», электротехнический, сернокислотный. Для сооружения только этих объектов оборонного значения потребовались десятки миллионов кирпичей. И эту задачу выполнил в основном кирпичный завод № 1 Стройтреста № 6, который стоит возле озера Мылки.

До войны на этом заводе работали около трех тысяч человек. Это был первый действующий завод в молодом городе, выпускающий продукцию. Работали на нем в основном мужчины. Труд керамика — тяжкий мужской труд... Коллектив завода состоял из бойцов особого строительного корпуса, комсомольцев первого и второго призыва, вербованных рабочих. С первых дней войны почти все мужчины ушли на фронт. На заводе остались в основном женщины. Пришли в цехи кирпичного завода жены, сестры, невесты ушедших на фронт. И труд этих женщин в те грозные годы войны был также стратегически важным, как труд корабелов, авиастроителей, металлургов, нефтяников. Миллионы кирпичей требовались строителям оборонных предприятий, да и здания культурно-бытового назначения в городе строились, хотя и в меньших масштабах.

О поистине героическом труде женщин-кирпичниц рассказываю я в этой строго документальной повести. Я постарался сохранить большинство подлинных имен героев повествования, достоверность картин минувшего из жизни коллектива завода, являясь непосредственным участником всех этих событий.

Пусть имена этих скромных тружениц и деяния их сохранятся для потомков в истории нашего легендарного города.

Г. Хлебников, первостроитель, Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре, член Союза писателей России.

ПИЩА ОГНЮ



Яфсова Зина — дозировщица глины

В дверь постучали тревожно и требовательно. Я отодвинул засов и в комнату, на клубках морозного пара, всплыла, одетая в мужской ватный костюм, неуклюжая фигура работницы Нюры Кушаковой. Она высвободила рот от шерстяной шали и сказала, протягивая мне записку:

— От директора... Срочно сказали... — и скрылась за дверями. Я развернул бумажку: рукой Кондратенко начертано торопливо: «Приходи скорее». Заныло сердце в недобром предчувствии. Я досадовал, что не успел узнать от Нюры, что там случилось на заводе в этот вечерний час. Авария? Несчастный случай? Слово «скорее» Кондратенко зря не напишет. Да я только два часа назад расстался с ним и ушел домой. Больше суток занимался очисткой узкоколейных путей от снега. Вместе с рабочими орудовал лопатой. В таком срочном деле личный пример необходим.

А за окном неистовствовала, набирала силу сумасшедшая таежная пурга, стекла дребезжали, по-волчьи выло в печной трубе. За окном уже темнело, затух, так и не успевший как следует разгореться, короткий зимний день. С лихорадочной поспешностью одеваюсь, забываю про дымящийся парком чайник на столе, выбегаю на улицу и сразу же окунаюсь в шевелящееся снежное месиво. Вот уже несколько дней снег сыплет с неба как из прорвы! К нему примешивается снег, поднятый свирепым ветром с земли. В этой каше, да еще вечером, в двух шагах ничего не видно. С трудом преодолевая тугой напор ветра, бреду по колено в снегу по той же узкоколейке, которую чистил сегодня утром. Она снова покрыта сугробами, так что и шпалы под ногами не прощупываются. Еще неделю назад это привычное буйство пурги я бы перенес спокойно. Штормовая погода всегда вызывает во мне душевный подъем, я воспринимаю ее как вызов природы, которому нужно противостоять. Но сегодня у меня нет такой уверенности в своих силах, сегодня ее буйный разгул тревожит и страшит меня. Сегодня я физически ощущаю груз ответственности на своих плечах за судьбу завода, оказавшегося в коварных объятиях снега, за судьбу людей, работающих день и ночь в его промозглых, холодных цехах. Эти люди тоже сейчас с тревогой прислушиваются к реву ветра. В дни натиска стихии все работники завода, независимо от ранга, выходят разгребать снег на дорогах, площадках под готовый кирпич. Все ненавидят эту дополнительную и ненужную нагрузку, все проклинаят погоду, «небесную канцелярию», не вовремя обрушившую на людей лавину снега.

Кажется, сбился с узкоколейки... Иду теперь целиной, держа направление на желтые шарики электрических фонарей, бесполезных в такой круговерти. Еле видны темные очертания приземистых сараев. Вон светится окошко конторы. Сметая снег с валенок, вхожу в кабинет Кондратенко. Он сидит за столом в пальто, в шапке. Он прижимает крепко к уху телефонную трубку и напряженно слушает, заметив меня, делает знак рукой: «Тише!». Вот лицо его оживляется, он кричит в трубку:

— Станция? Кто у телефона? Будкин? Товарищ Будкин, уголь когда

подашь? Не знаешь? Как это — не знаешь! У меня топливо кончилось. Запас? Нету у меня запаса, какой к черту запас! Сегодня подавай вагоны, слышишь? В горком буду жаловаться. Я не пугаю, я требую... Снег на путях? Ну и что же? Зимой, между прочим, снег всегда бывает на путях. Товарищ Будкин! Але, але!.. Бросил трубку, чертяка!

— Кондратенко повесил трубку на крючок деревянного аппарата, дал «отбой». Он долго молча смотрит на меня опечаленными карими глазами, расстроено спрашивает:

— Что делать будем? На гофманке угля нет. Ни грамма!

В глазах Кондратенко я прочитал осуждение и даже презрение к моей особе. И я понимал его состояние. Ведь именно я сегодня утром бодро доложил директору, что угля хватит на неделю. Информацию эту я сделал после не менее бодрого мне доклада начальника топливного склада Курносова.

— Постой! Но Курносов мне даже показал, где лежит уголь, — томясь от унижения, оправдывался я.

— И я видел... Это оказался просто сугроб... Ошибся Курносов. Стали копать — земля... — морщась, говорил Кондратенко. Искоса взглянув на меня, продолжал: — ЧП, главный инженер. Что делать будем? Ты как представляешь себе дальнейшие события? Молчишь? Все будет выглядеть примерно так: огонь в обжиговой печи потухнет, а если заново разжигать — когда топливо достанем, — то дней десять уйдет на это. Так? Это четверть миллиончика кирпичиков как не было. А рабочим чем платить? Ну, естественно, наше с тобой правление наверняка может закончиться. С позором, между прочим, с большим позором. И партбилеты на стол, да и еще кое-что по законам военного времени... Али не так?

Кондратенко задавал вопросы с издевкой, таким тоном, вроде сам ко всему этому происходящему не имеет никакого отношения. Меня это злило, хотелось сказать: «Зачем злорадствуешь, не над собой ли злорадствуешь, дорогой мой Иван Дмитриевич». Но не сказал я таких слов. Слишком хорошо я знал этого человека, чтобы не ожидать от него иного решения. И не ошибся. Кондратенко вдруг неожиданно, озорно так, ухмыльнулся и сказал:

— А выход есть.

— Какой! — подскочил я.

Кондратенко вышел из-за стола, открыл дверь в приемную, где у коммутатора сидела пожилая дежурная, крикнул:

— Ольга Яковлевна, Курносова мне! Он на гофманке.

Вернулся, уселся в прежней позе, бочком, продолжая молчать, по-мальчишески довольный, что заинтриговал меня. Даже песенку свою любимую замурлыкал: «Дывлюсь я на нибо тай думку гадаю...»

Не прошло и трех минут, как на пороге появился Курносов. Вид у него виноватый, сконфуженный.

—Звали?

— Что предлагаешь? — жестко спросил Кондратенко. — Печь тушить?

— Не знаю, — растерянно пробормотал Курносков, бледнея.

— Зато я знаю! — хлопнул ладонью по столу Кондратенко. — Бери мужиков, где отыщешь, ломы в руки — и ломай сараи сушильные.

Озадаченный Курносков так и замер с поднятой рукой, собираясь снять шапку. Пристально взглянул на директора: не шутит?

— Ну что смотришь, иди действуй, — повторил приказание Кондратенко.

Лицо Курносова стало строгим и озабоченным. Он присел на стул, стоявший возле двери, шапку на колени, явно не торопится выполнять приказ.

— Ты чего? Я не шучу, — заметил, раздражаясь, Кондратенко.

— Мне тоже не до шуток, Иван Дмитриевич, — отозвался Курносков. — Ломать сараи я не стану. Уголовщина, товарищ директор. Если будешь настаивать...

— Что? В трест станешь звонить? — уколол Кондратенко.

— Зачем звонить, бумагу официальную давай, — погладил себя по толстому колену Курносков.

Кондратенко задвигал ящиками стола, отыскивая лист бумаги, быстро что-то написал, подал Курноскову. Тот внимательно прочел, шевеля губами, удовлетворенно кивнул и вышел. Едва за ним закрылась дверь, я кинулся к Кондратенко:

— Прав Курносков: уголовщина это, Иван. Сараи на балансе...

— А ты что предлагаешь? Молчишь? То-то! Выбора-то нам, Геннадий, нет. Как-нибудь выкрутимся... Я буду ломать только стеллажи, крыши-то сохранятся. Поселковый народ и так всю войну лушит наши сараи на дрова... Иди-ка ты лучше, поднимай баб наших... В формовочный сходи, на карьер. Я обжиг возьму на себя, садку, сушку. Весь завод выведем. А не то через пару часов — я смотрел — огонь в гофманке потухнет...

Получив такое указание, я сразу же оставил свои опасения по части ответственности нашей с директором за сараи. Но я медлил. Я с замиранием сердца представлял себе, как стану уговаривать плохо одетых, плохо обутых женщин: в старых резиновых сапогах, заплатанных башмаках, в тряпочных постелах выйти из влажного карьера или формовочного цеха в такую морозную метельную темь таскать бруски и доски на гофманскую печь. А снегу по пояс... Все это прочитал на моем лице Кондратенко, сказал мягко, сочувственно:

— Иди, Геннадий. Мы сделаем людям хуже, если не поведем, пожалеем их сейчас. Во сто раз хуже. Завод — ихняя жизнь, детей ихних, стариков. Люди нас поймут, иди, не тяни время...

Зимний карьер — изобретение местных амурских умельцев. Нигде, пожалуй, не встретишь такого странного сооружения. В Приамурье при

малом снеге в наших местах и сильных морозах, когда земля промерзает до трех метров в глубину, глину и взрывчаткой не возьмешь. И чтобы сохранить глину талой в течение всей зимы, осенью на почву укладывают в шахматном порядке бревна, соединяют их скобами, поверху накрывают досками. А на доски насыпают полуметровый слой опилок, присыпают их землей, чтобы не сдуло ветром. Вот и готова надежная крыша для зимнего карьера. Затем делают врез в грунт, как при прокладке тоннеля, навешивают ворота, подводят сюда узкоколейную дорогу. Глину грузят в кузовные вагонетки и тянут их с помощью троса и лебедки в формовочный цех. До весны тысячи кубометров глины возьмут из-под крыши, и тогда внутри образуется фантастический зал со множеством колонн — деревянных подпорок. Здесь довольно тепло: день и ночь топят печи, сделанные из кузовов тех же вагонеток. Старики, старухи, ослабевшие от недоедания молодые девушки, топят эти печи, подтаскивая метровой длины тяжелые поленья. А ведь истопник на заводе — самый легкий труд.

С трудом приоткрыл ворота и вошел в карьер. После метельной уличной сумятицы в карьере чувствуешь себя как в теплице. Ярко горят электрические лампы, полыхают жаром красные бока железных печек. Некоторые стойки, сделанные из тополя, зеленеют новыми несвоевременными побегами, так что и впрямь — теплица... Но теплота эта обманчива. Сырость тут. Она исподволь точит здоровье людей.

Как и в других цехах, здесь работают почти одни женщины. Они исполняют тяжкую, извечно мужскую работу землекопов. Десять часов они не покидают карьера, копая жесткую глину и накидывая ее в вагонетки. Трое мужчин на весь карьер: прицепщик-лебедчик, плотник, ставящий подпорки под крышу, и слесарь, латающий убогую карьерную технику.

Голос бригадирши землекопов Марфы Лукиной слышится в глубине карьера. Туда и направляюсь, заранее поеживаясь от предполагаемых острот бойкой на язык Марфы. Зычным голосом она произносит:

— Бабоньки, перекур! Смотри — кто к нам пожаловал! Сам главный инженер. Милости просим! — Марфа втыкает лопату в красную глину и, несмотря на внушительные свои габариты, легко соскакивает с уступа вниз. Как и другие землекопши, Марфа в одной ситцевой кофточке, рукава засучены. Она оттирает концом головного платка красное потное лицо, продолжая балагурить. Иначе она не может. И не всегда сразу догадаешься: всерьез говорит Марфа, или шутит?

— Что-то зачастил к нам главный инженер. Неспроста это, бабоньки, — продолжает травить Марфа. — Ох, неспроста! Это он на Алевтину посмотреть приходит, — косит озорным глазом на молоденькую некрасивую Алевтину. У той слезы даже выступают из глаз. Она бросает лопату и убегает в темный угол.

— Хватит тебе, Марфа, — одергивает шутницу рассудительная Мария Гребнева. — Человек по делу пришел, а ты — шуточки.

— Вот уж, и пошутить теперь нельзя! — не смущается Марфа. — Ведь можно пошутить, Гена?

— Можно, — соглашаюсь я, не подавая виду, что шутки бригадирши всегда приводят меня в смятение.

— Ну, а какие дела? — пытливо уставилась на меня бригадирша.

— А такие, что надо сейчас всем пойти дрова таскать на гофманку. Печь затухает... — выпалил я с отчаянной отвагой, стараясь поддержать шуточный тон, взятый Марфой.

— Это какие дрова?

— В пургу-то.

— В резиновых сапогах?... — одна из женщин выставила ногу в рваном резиновом мужском сапоге.

Я пытаюсь объяснить «обстановку», но в гвалте женских возмущенных голосов меня никто не слышит. Властный голос Марфы заставил всех умолкнуть.

— Бабы, вы чего — белены объелись? Чего кричать? Человек за делом пришел, а вы — в крик. Ведь сами знаете: кричи не кричи, идти надо. Вы что — хотите, чтобы печь потухла? Нет. Тогда давайте без шума и крика. Какие дрова, откуда? Пилить что ли придется? — обратилась ко мне Марфа.

Я объяснил. Неожиданно для меня, слова мои успокоили женщин. Видно их не так страшила пурга и ночь, как перспектива пилить толстые бревна. Таскать груз и легче, и теплее, это каждый знает. Шумно, с причитаниями, одевались, кутали головы в платки, подвязывали ушанки, у кого они были, поудобнее переобувались. Сорочьей стаей вывалились из ворот карьера на улицу. Я с Марфой впереди, остальные цепочкой сзади. Пока я беседовал в карьере с женщинами, ветер как будто усилился. Он распахивал полы, рвал платки с голов, сбить норовил с ног оплошавшего путника, забивал снегом глаза и рот.

В сушильном сарае несколько пожилых мужиков, под водительством Курносова, по-медвежьи рушили решетчатые стенки стеллажей, разбирали их на части. Гора брусьев росла на глазах. Женщины брали по два-три бруска и несли на плече на обжиговую печь, отстоящую от сарая за четверть километра.

— Бабоньки, девчатки, дорогие вы мои, серебряные! Больше трех брусков не брать! Слышите?! — покрикивал Курносов. — Гвозди в брусках, поосторожнее, гвозди!

А сам успевал и ломать, и относить очередную охалку брусьев на печку.

Включился в работу и я. Несу, в глаза вдруг ударил яркий свет прожектора. Наверное директор распорядился. А вот я не догадался... И пусть луч прожектора с трудом пробивал снежную пелену все же ходить стало виднее, и работа оживилась. К землекопшам присоединились формовщицы, сушильщицы, садчицы. Бесперывным потоком двигались

люди по тропе-траншее снежной, скользя и падая: неспешно — с ношей на плече, почти бегом — порожняком (да ветер в спину)...

Спускаюсь с высокого бремсберга обжиговой печи, и вижу всю эту необыкновенную картину напряженного и яростного труда женщин. Гляжу и плакать хочется от жалости к ним, безответным труженицам, вот уже четвертый год войны несущим на своих слабых женских плечах тяжкий груз труда и забот, который не каждому мужику под силу. И хочется взять потяжелее ношу, побыстрее шагать, не показывать усталости на виду у всех. А тут еще эта озорница Марфа кричит сзади:

— Ей, Генаша, берегись, зашибу ненароком. Тоже богатырь: взял две былинки и качает парня. В коленках жидок? — хохочет, заливаясь неугомонная Марфа. Смущает меня подначка, но обиды на Марфу нет. На нее нельзя обижаться, так умеет держать себя с людьми, «край» знает... И самый обидчивый быстро отходит после ее, порой очень соленых и острых, шуточек; и тут же вместе со всеми подсмеивается над собой.

В очередной раз свалив на печь охапку брусков, собрался бежать обратно, но встретился с Бабушкиным. Наш заводской энергетик, с монтажными когтями через плечо, стоял на бремсберге и покуривал сигарку. Он крикнул:

— Стой, Гена! Передохни маленько. Кури? У меня самосад-стенолаз. Курнешь? — протянул кисет и свернутую в рулончик газетную бумагу. Я принял кисет, стал крутить «козью ножку». А Бабушкин, с присушим ему апломбом, заговорил:

— Вы с Иваном, я вижу, за сарай принялись? А там и до бараков дело дойдет?..

— Не дойдет... — обиделся я.

— Кто знает... А я вам обоим что говорил? Говорил: не берите эту обузу от Никандрова, — повел рукой вокруг. — Ловкач он, а вы — лопухи. Почуял Никандров, что войне скоро конец, что может она и здесь, на востоке, теперь начнется, он — наутек.

— Болен Никандров, по болезни он... — вяло защищаю Никандрова.

— Кто поверит! По болезни... — поморщился Бабушкин. — Тридцать мужику, здоров как бычок. Хитрован! Сбежал. Ты это и сам хорошо знаешь. Просто оправдываешь и свой поступок, чтобы не жгло. Что, угадал? Точно так. Жук он, Никандров. И всегда был жуком.

— Скажешь не деловой был человек? — заступился я за Никандрова, молчаливо признавая правоту слов Бабушкина.

— Согласен. Но и жук. И струсил он. От войны неминуемой на востоке бежал. Как это у Лермонтова: «Бежал Гарун быстрее лани...» — продекламировал начитанный Бабушкин. И продолжал:

— Сарай в огонь — это начало. У вас с Иваном еще много будет неприятностей.

— А ты что, радуешься? — вспылил я.

— Вот чудак! Жалею я вас, как друзей жалею.

Я оставил Бабушкина и включился в людской конвейер. С муравьиной неумолимостью люди сновали взад и вперед по снежной утоптанной траншее. То и дело раздавались возгласы, тяжело дышащих носильщиц:

— Эй, поберегись!

— Куда прешь, не видишь что ли!

Наблюдая, как из снежной кисеи выплывают темные фигуры, подсвеченные прожектором, с трудом пробивающим своим призрачным светом снежную взвесь, я невольно вспомнил вот такую же неясную в метели и освещении фонарей темную фигуру Никандрова, мятущегося по заводскому двору. Я стоял на низеньком крылечке конторы и смотрел на него. Никандров заметил меня, подбежал с развивающимися на сильном ветру лапами овчинной поддевки.

— Геннадий, Клименко не видел?

Шофера Сашку Клименко, лукавого молодого проныру, я не видел. Я быстро сообразил, в чем тут дело. Никандров еще утром предупредил Клименко, что вечером в шесть уезжает на вокзал. Клименко клятвенно обещал подать вовремя к конторе свою потрепанную полуторку, работающую на березовых чурках. Клименко всегда подобострастно вел себя с директором Никандровым, но стоило тому снять с себя высокие полномочия, как Клименко сразу стал наглым и заносчивым. В чем-то наверно отказал шоферу напоследок Никандров, и тот решил ему отомстить.

— Ах, подлец, какой подлец! — возмущался Никандров. — Билет у меня на сегодня... багаж отправлен... Подведет подлец! Ну что за мерзавец!

Пришлось включиться в поиски Клименко. Я нашел его дома. Шофер степенно чаевничал.

— Подождет, — с хохлацкой невозмутимостью говорил Сашка, неторопливо одеваясь. — Увезу, поспеет. А и опоздает — не велика беда, завтра уедет.

Я помогал Никандрову грузить на полуторку множество всяких узлов, узелков, коробок, ящичков, мешочков, кульков. Поражало количество вещей «при себе». В некоторых узлах, пакетах, ящиках угадывались консервы, копченая кета, новые пары валенок разных размеров. В иных тючках прощупывались ткани... Все, что выносил из директорского коттеджа Клименко, он с нарочитой небрежностью кидал в кузов полуторки.

— Поосторожнее! — сердился Никандров, страшно мучаясь от своего бессилия. Он был явно смущен моим присутствием и отпустить меня не решался, боясь остаться наедине со строптивым шофером. Весь этот багаж, приобретенный нечестным путем, казался мне позорным в дни общего народного бедствия. Утром я участвовал в дележке мешка лежалой соленой рыбы между нуждающимися, обремененными семьями работницами. А тут: теша, банки американской тушенки и лярда...

Никандров уехал, а я долго в тот день размышлял о нем. И совершенно противоречивые суждения об этом человеке одолевали меня.

Когда началась Великая Отечественная война, директором нашего кирпичного завода стал Вербенко. Но очень скоро был взят в управление треста, там стал секретарем ЦК ВКП(б). Вербенко выдвинул на свое место Никандрова. И всегда помогал ему, наставлял. Дела вел Никандров умело, вникал в любую мелочь на производстве, знал досконально технологию. Он умел увлечь людей, заставить работать с полной отдачей. Он умел быть суровым, умел быть доверительно душевным. Никандров соблюдал дистанцию с подчиненными, но искал повод сблизиться с ними накоротко, «спуститься в народ». Он и поплясать готов с работницами на празднике, и ребенка приласкает, и с девушками (сам холост еще) мог пошутить, позубоскалить. Словом, как говорят ныне, был коммуникабельным человеком, демократичным руководителем. Он был смелым и решительным. Я видел однажды, как он вскочил на полном ходу в кабину полуторки, которую хотели угнать с завода, схватился за руль, машина вильнула в канаву и перевернулась. Никандров мог погибнуть, но видимо не думал об этом. Так могут поступать очень смелые люди.

Никандров почему-то несколько выделял меня из всех, с кем был более или менее близок, и откровенно беседовал со мной, иногда высказывая свои оригинальные мысли о жизни вообще. Он был честлюбив, Никандров. Директорство свое на кирпичном заводе он считал первой ступенькой к большим номенклатурным высотам. Он старательно готовил себя к высокому назначению. Даже то обстоятельство, что он оставался холостым при таком избытке невест, было подчинено затаенной мечте о карьере. «Надо, чтобы жена соответствовала, — говаривал иногда он. — Представьте: ты министр, а жена у тебя вчерашняя свинарка Мотря, двух слов связать не может. Нет, хорошая, умная и вышколенная жена — половина жизненного успеха».

Однажды он задержал меня после очередного совещания, мы остались вдвоем.

— Поговорить надо, — сказал, присаживаясь поближе. — Война-то идет к концу?

Да, война вступила в решающую фазу, и победоносно наступали наши войска. Клич: «Вперед, на Запад!» звучал орлиным кликом по всей стране от западных до восточных его рубежей. И уже строились планы послевоенной жизни, хотя еще умирали солдаты на фронте, умирали от истощения, болезней, непосильного труда люди в тылу. Но никакие беды не могли приостановить стремление народа к обновлению, к приведению в порядок своего общего дома, разоренного громилами, отмеченными антихристовой печатью паучьей свастики. И, конечно же, каждый человек строил свои личные планы соответственно со своими убеждениями и возможностями. Были планы у Никандрова. О них он и заговорил сейчас:

— Ты понимаешь, Вербенко сообщил мне, что подбирают людей для поездки в США. Инженеров, военных, ученых. От Комсомольска надо послать одного инженера. Вербенко говорит, что моя кандидатура вполне подойдет. Тут важно все: чтоб был истинно русский человек, вплоть до есенинских соломенных кудрей (а у меня такие), до цвета глаз (а у меня голубые), чтобы внешность приятна была (а я чем плох?). Ну и голова чтобы варила. Варит у меня? Думаю, что варит.

— А к чему тебе эта поездка?

— Ну для получения опыта, американского... Ну не это, конечно, главное... — сдержанно сказал Никандров, умолкнув.

— Что же тогда? — допытываюсь я.

— Главное — я побываю предварительно в Москве. Там установлю соответственные связи. Ты не знаешь, Гена, какая сила в связях! А я знаю, слышал... Главное — после поездки в Америку я смогу остаться в Москве и распрощаться с этой дальневосточной ссылкой. И не директором кирпичного завода в Подмосковье, а повыше место могу получить. В главке, например, а там...

— И в министерстве, — подсказал я.

— А что? Не исключено, не исключено, — Никандров заносчиво вздернул подбородок: признак окончания доверительного разговора. Теперь он застегнут на все пуговицы. Потребность излить душу прошла до следующего раза. Так он всегда...

В зарубежную делегацию Никандров почему-то не попал. Может эта делегация была отменена вообще, не состоялась. И Никандров долгое время не разговаривал со мной по душам. А вот перед новогодним праздником Никандров как-то разоткровенничался, изобразив при этом печальное лицо, что ему как всегда в таких случаях плохо удавалось: был он круглолиц, розовощек, как молоденький поросенок, присадист, с полноватым тазом. Невысок, вроде и неуклюж с виду, но на деле ловок, быстр в ходьбе, жестикуляции. Моргая белесыми ресницами, он со скорбным вздохом начал рассказывать о своих болезнях.

— Ты понимаешь, плохо спать стал. Иную ночь глаз не сомкну, а усну — удушье наступает. Измотался весь. К самому врачу Пендрии пошел на прием. Старик говорит: «Очень серьезно, молодой человек. Такую редкую болезнь мы здесь не можем лечить. Возможно в Москве? Туда обратись». А болезнь моя такая... — он вытащил из кармана гимнастерки (он носил погоны лейтенанта) бюллетень, протянул мне, — вот, читай...

Я взял голубой листок бюллетеня и прочел: «Синдром... невралгия... вегетативная нервная система». И еще что-то было приписано на листке неразборчивым докторским почерком. Оставалось посочувствовать Никандрову, что я и сделал вполне искренно.

— Брось ты все и поезжай в Москву, — посоветовал я.

— Легко сказать, — вздохнул Никандров. — А кто пустит? На фронте

люди гибнут каждую минуту, а тут — синдром... — резонно возразил Никандров.

— Но ведь ты можешь умереть, инвалидом сделаться! — воскликнул я.

— В любую минуту, — обреченно согласился Никандров. — Но надо терпеть. Мы с тобой коммунисты, Гена. Нам нельзя поддаваться панике.

С откровенного товарищеского тона он привычно, наверно, и сам не замечая, перешел на язык напыщенный, каким он (и не только он!) изъяснялся с трибуны, во всех официальных обстоятельствах. И мне это не понравилось. Ну чего передо мной-то выпендриваться.

— Стой, не то говоришь, — прервал я его сентенции. — Ты не на активе. Мой совет: просись, отпустят, вот увидишь. Тебя ценят в тресте. Подлечишься, вернешься.

— Ты думаешь отпустят? — с надеждой спросил Никандров.

— Несомненно!

Вот такой произошел у нас разговор. И я уже позабыл о нем. Но как-то Никандров задержал меня в кабинете. С непривычным для него смущением, свидетельствующем о его душевных переживаниях, и подкупившем меня, он сказал:

— По твоему совету я обратился к управляющему трестом Барскому. Знаешь, что он мне сказал?

— Не пушу, — предположил я.

— Как раз не то. Он отпускает. «Поезжай, говорит, подлечись, Никандров, но кто тебя заменит? Найдешь замену, езжай».

— Кого-нибудь из треста подошлют, — предположил я.

— Исключено. Война четыре года идет... Сам знаешь, как с кадрами в тресте. «Ищи, — говорит Барский, — у себя на заводе».

Никандров прервал разговор, стал перебирать бумаги на столе. Видя, что он не намерен продолжать свои откровения, я покинул кабинет.

И вот мне теперь-то стало ясным, что тот раз Никандров прервал разговор наш с умыслом, чтобы дать мне подумать, поискать на заводе достойную ему замену, да еще включить в поиски других. Так оно и произошло. Я лично так и этак оценивал возможные кандидатуры и не находил равных Никандрову. Что ни говори, Никандров был энергичным, находчивым, дипломатичным, что очень и очень немаловажно для должности руководителя предприятия, пусть и маленького, как наше. Почти все годы войны Никандров обходился без главного инженера, без всякого заместителя, совмещая должности. Нет, на заводе не было человека равного Никандрову. Об этом я ему при удобном случае и сказал. Никандров пристально на меня посмотрел, словно взвешивал что-то в уме, и, усмехнувшись, сказал:

— Такой человек есть, Геннадий. Это — ты.

— Ну, это несерьезно, — только и нашел я что сказать ему в ответ.

— Очень даже серьезно, — возразил Никандров, снова оборвав на этом

взволновавший меня разговор.

Теперь, при встрече, Никандров заговорщически посматривал на меня, напоминая этим взглядом о тайне, связывающей нас. Без сомнения, он ждал от меня ответа, а я медлил. Я разрабатывал разные варианты и все они приводили к одному, справедливому, по-моему мнению, выводу: мне не под силу предложенная ноша.

Новый год наступил под неумолчный грохот орудий, салютующих в честь все новых блистательных побед наших войск, сражающихся на вражеской земле. Это вселяло надежду, прибавляло сил народу. Он был самым радостным этот последний новогодний праздник военного времени. Была нарядная елка в заводском клубе, был концерт и танцы под аккордеон, на котором играл фронтовик-инвалид.

Никандров, как всегда, в центре внимания публики. Он в новом кителе, синих шевиотовых галифе, в хромовых сапожках, начищенных до зеркального блеска. Белая полоска подворотничка на полной розовой шее. Слегка надушен. Поблескивая стеклами очков в стальной оправе, Никандров отплясывает кадриль, меняя партнерш. Приглашал и Марфу Лукину, оказавшуюся ловкой партнершей. Но чаще с ним в тот вечер танцевала его секретарша Нина Болотина, всеобщая любимица, волоокая, такая русская красавица с толстой косой. Все знали на заводе, что тихая и добрая Нина равнодушна к Никандрову, что любит его безнадежно, ничем стараясь не выказывать этих чувств. Нина ни вдова, ни солдатка. Перед самой войной познакомилась с парнем. Только собирались молодые люди пожениться, грянула война, ушел парень на фронт в первые же дни, и скоро пришла Нине похоронка. Как раз в тот день, когда у нее сын родился. Теперь Нина воспитывает его, живет с сыном и матерью в маленьком домике, который перед войной построили для нее на берегу озера Мылки ее дружные братья.

На новогоднем вечере Нина много пела. Пела романсы глубоким контральто, пела вместе со всеми популярную в ту пору песню «Вечер на рейде». «Прощай, любимый город...» — выводили голоса под звуки аккордеона, и голос Нины выделялся особым чувством.

А через день, рано утром, ко мне ворвался Никандров, бледный с трясущимися губами. Никогда я не видел его в таком состоянии.

— Одевайся быстрее, едем! — прерывающимся голосом он, помогая мне надеть пальто. — Едем, дорогой все объясню...

И уже па улице, взяв в руки вожжи и хлестнув лошаденку, сказал с болью в голосе:

— Нину убили...

— Кто?! — я почувствовал в груди ожог гнева и нестерпимой жалости.

— Грабители... И дом сожгли. Всех убили, и мать, и сына...

Только вчера утром я видел из окна своей квартиры, как Нина везла своего малыша на санках в ясли. Санки порой и переворачивались на

изъезженных колеях. Нина поправляла санки и двигалась дальше. Такую картину я привык наблюдать почти и каждый день. Появление Нины с сынишкой перед нашим домом означало: пора идти на работу.

И вот отныне я никогда не увижу ни Нину и ни ее ребенка. Никогда!

Стоим огорченные возле глубокой ямы-подвала, наполненной обгоревшими бревнами и досками: все, что осталось от дома Нины Болотиной. В мусоре какие-то обрывки тканей, обгоревший ящик патефона, помятый самовар. Медленно поднимаются в морозном воздухе струйки дыма. Останки убитых уже подняли и увезли. Мы стоим молча, не скрывая слез. Убийство было таким нелепым, невероятным. За что? Какие-то тряпки лишили разума соседа Нины, угрюмого, не раз в прошлом судимого мужика, из тех, кого никакие социальные перемены, никакие воспитательные меры не могут отвратить от прирожденной тяги к преступлению. Они, наверно, будут такие во все времена, у всех народов. Мужика убийцу в тот же день разоблачили. Милиция еле отстояла его от самосуда разъяренных жителей поселка.

Потом Никандров признавался мне:

— Нет Нины, Геннадий... Не верится, понимаешь. Сажу в кабинете, забудусь и хочу позвать Нину. Словно что-то отняли от меня дорогое, ничем никогда незаменимое, невозполнимое. Я не любил ее, я еще никогда никого как следует не любил. И полюблю ли, не знаю. Но я знаю, что Нина любила меня, и никто так меня не будет любить. Это я чувствовал. Этого нельзя не чувствовать. Это такое счастливое состояние, когда чувствуешь любовь женщины. Оно может заставить тебя полюбить ее тоже. И вот всего этого, этой атмосферы любви, сознания твоей для кого-то нужности — больше нет!..

После смерти Нины Никандров ходил мрачный, неразговорчивый. Он заметно подзапустил все хозяйственные дела, ослабив административные вожжи. И в числе первых, заметивших перемены в Никандрове, были я и Кондратенко. Мы поделились своими соображениями с Яковом Никитовичем Копейкиным, нашим бессменным в годы войны секретарем партийной организации. Доверчивый, добродушный, он мало вникал в дела административные, справедливо полагая, что партийному вожаку больше достойно заниматься духовной стороной заводского бытия. Копейкин решил серьезно поговорить с Никандровым. Но он опередил нас, пригласил как-то всех троих к себе.

— Товарищи, я уже кое-кому говорил о своей болезни. Вот Гена знает. В последнее время болезнь моя обострилась. Врачи советуют настоятельно ехать лечиться в Москву. Можно и в Куйбышев. Но там жить негде. В Москве у меня сестра. Меня отпускают с условием: найти замену. Я нашел замену. Думаю, что Геннадий Хлебников и Иван Кондратенко сумеют меня заменить. Кондратенко станет директором, Хлебников — главным инженером. Очень надеюсь, что они выручат меня, согласятся.

Управляющий сказал, чтобы через три дня кандидаты были у него на приеме. Для объяснений.

Хотя я и Кондратенко догадывались о содержании предстоящего разговора, но все же он взволновал нас. Мы знали тяжесть ответственности, которую хотели взвалить на нас. Всю войну оборудование, цехи заводские не ремонтировались. Нам предстояло принять разбитое обжиговое и сушильное хозяйство, изношенные до крайности машины. Но самое главное в предстоящих трудностях — до крайности тоже усталые люди и физически, и морально.

Но мы были молоды, мы были тщеславны. Стать руководителями завода — это чего-то стоит! Мы были неопытны и самоуверенны, и не подозревали даже о многих неприятностях, которые ожидали нас впереди. И на этом незнании держалась наша уверенность, что обязательно справимся. Такая уверенность — основа всякого успеха. Мы с безоглядной храбростью бросались в неизвестность, таящую неведомую нам опасность. Так бросаются в бурную реку не умеющие плавать, но готовые реку переплыть.

В дополнение ко всему, мы оба искренно сочувствовали Никандрову, веря в его болезнь, явно обострившуюся после гибели Нины Болотиной. Бабушкин, человек недоверчивый, ставил болезнь Никандрова под сомнение. Он говорил пренебрежительно, внося смуту в наши души:

—Бежит Никандров. Факт! От войны на востоке бежит. В Москве такие как раз места теплые делят. Никандров наш не опоздает. Да еще с орденом Красной Звезды, что получил недавно, едет. Вот увидите, помяните мое слово!

Через три дня Никандров уехал в Москву.

К десяти часам вечера вся площадь обжиговой печи была завалена брусками и тонкомерными стойками. Пахло смолой, дымком каменного угля, кирпичной пылью. Тишина установилась на обширной поверхности, величиной с футбольное поле, гофманки. Люди разбрелись по цехам, отправились на отдых домой. Двое мужчин в углу неспешно пилили бруски на чурки, чтобы их можно было бросать через узкие отверстия конфорок в огнедышащую утробу печи.

— Короче пилите, мужики, не хитрите мне! — покрикивала на пильщиков обжигальщица кирпича Дуся Шестакова. Мощного телосложения она выглядела еще могучее в телогрейке, ватных штанах, в фартуке. Белое миловидное лицо, черные блестящие глаза контрастировали с убогой ее одеждой. Но стоило заговорить с нею, и ты уже не замечаешь грубой неженской ее одежды, видишь только ее приветливую улыбку, черные глаза с волнующим блеском.

— Что за бестолочь эти колонисты, — беззлобно возмущалась Шестакова. — Я им говорю: подтаскивайте козла, а не дрова. Так ведь удобнее. Они распилят, уйдут, а мне корячится всю ночь с охапками. До чего тупые мужики!

Когда одного за другим стали брать на фронт мужчин, дошла очередь и до редкой профессии рабочих-обжигальщиков, или как их называют кирпичники, взварщиков. Испокон веку эта профессия считалась сугубо мужской. Дуся Шестакова сама пришла к директору и объявила о своем желании стать обжигальщицей. И так рьяно взялась за овладение профессии огненной, что через полгода уже работала на печи одна, выдержав экзамен на мастера. А ведь профессия обжигальщика до сих пор еще держится на большом опыте, на интуиции, коей не каждый человек обладает. Нужен талант. Такой талант обнаружился в Дусе Шестаковой. И старший взварщик Утробин сказал о ней с уважением: «Редкая, скажу я вам, женщина. Нюх у нее, чутье есть на обжиг».

Дуся кратко и толково пояснила мне, как сегодня идет обжиг, сколько готовых «рядков» завтра можно выгрузить из чрева печи. Сказала с запоздалым испугом:

— Печь-то чуть не потушили. Мамынька, что делать-то тогда!

Молодцы, бабоньки, выручили крепко.

— На то они и хранительницы огня, — заметил я.

— Слушай! Никандров тоже называл меня хранительницей огня. Это как надо понимать? — впилась в меня черными глазами Дуся.

Я стал объяснять, подыскивая понятные слова и сравнения. Я говорил, что в незапамятные времена, когда человек бродил по лесам в поисках пищи и жил в пещере, женщина первой догадалась принести в темную холодную пещеру головню, горящую от подожженного молнией дерева. В пещере стало уютнее и светлее. Женщина же научилась поддерживать огонь, подбрасывая сухие ветки. Люди к огню привыкли. Костер день и ночь горел в жилых пещерах первобытных людей. Следили за огнем, чтобы не потухал, женщины.

С тех давних пор и называют женщину хранительницей огня, домашнего очага, хранительницей, значит, семьи. Вот и сейчас – идет война. Мужчины бьют фашистского зверя. А миллионы женщин хранят семейные очаги, не дают потухнуть священному огню жизни. Не дают потухнуть огням тысяч заводов, в которых куется оружие для воинов наших.

— И не дадим потухнуть, — серьезно сказала Шестакова, выслушав мой рассказ о символе хранительницы огня. — Сохраним огонь.

Она взяла в руку стальной крючок-кочережку, стала открывать, одну за другой конфорки чугунные и бросать в раскаленные жерла узких отверстий дрова и мелкий уголь. Яркое пламя каждый раз освещало круглое лицо обжигальщицы, красило в красный цвет ее фартук. И, казалось, что эта женщина отлита из меди. Позвякивают конфорки, все дальше от меня отходит Шестакова, позабыв, кажется, про наш разговор и про меня.

А на улице с удесятенной силой буйствовала пурга. С трудом ориентируясь, бреду домой, предвкушая чаепитие и сон. Болела от усталости голова, сосало под ложечкой: с утра ничего не ел. На полпути до

поселка увидел в снегу что-то темное, неуклюже шевелящееся.

— Кто там? — крикнул я, приостановившись.

— Это я, Нюра Кушакова, — отозвалась женщина. — Дрова разроняла... Никак не соберу... Ветер, зараза!

Я слал помогать женщине. Вдвоем быстро собрали вязанку, перетянули веревкой.

— Под кинь-ка, — подставила плечо Кушакова. Куда тебе, Кушакова... Вижу: еле ноги держат, пошатывается Кушакова. Молча взвалил вязанку на спину, донес дрова до самых дверей барачной комнаты Кушаковой. Дверь раскрылась, на пороге стоял мальчик лет десяти, закутанный в серое одеяло. Посторонился, пропустил нас в комнату. Я осторожно опустил вязанку на пол возле плиты, огляделся. Три железные кровати, тумбочка, табуреты, домотканые половички. Единственно стоящая вещь в этой убогой мебелировке — скромненький буфет, сработанный руками хозяина. Перед войной я видел этот буфетик в столярке, над отделкой его трудился Аркадий Кушаков, лучший плотник завода.

Трое ребятишек Кушаковой, поменьше возрастом, вповалку спали на одной из кроватей под грудой одежды. Парок шел изо рта ребятишек — холодно в комнате.

— Сейчас протопим, чайку сварганим. Ты не спеши, Геннадий. Ведь и дома чаек захочешь греть? Растопляй плиту, я воды принесу, — Кушакова загремела ведрами, вышла. Я принялся разжигать печку. Скоро пламя весело заплясало на сухих, как порох дровах, и по комнате стало растекаться благодатное тепло. Вот уже и чайник зафыркал, зазвенел крышкой. Мы сидим с Кушаковой и ее бодрствующим сынишкой за столом и пьем морковный чай, сдобренный лимонником. Для сынишки я отыскал в кармане серый от табачной пыли кусок сахара.

— Ты картошку бери. Чай хорошо с картошкой, — угощала хозяйка, подвигая ко мне тарелку с холодной картошкой в мундире. Я деликатно беру одну, растягиваю на все чаепитие.

— Трудно тебе с ребятами, — киваю в сторону спящих детей, к которым присоединился и старший.

— Ох трудно! Так трудно, что не сказать, — с болью произнесла Кушакова. — Иной раз сердце зайдет от жалости, готово из груди выскочить. Сам посуди: триста граммов хлеба на ребенка. На меня восемьсот. Весь хлеб — две буханки. На пятерых! А кроме хлеба и есть нечего. Сейчас хоть еще своя картошка тянется. Трясусь над каждой, но есть пока. А ведь в первые годы войны и картошки не было. Не растили. Это во время войны только научились садить. На всем привозном в Комсомольске-то жили, сам знаешь. А война началась, как ножом привоз отрезало. Откуда везти-то! Все продукты из магазинов исчезли. Страшно вспомнить. Как только выжили, не пойму. Да и сейчас не больно легче...

Кушакова умолкла, задумалась, глаза печальные, страдальческие,

наверное ей всегда видятся голодные глаза ее детей, бледных и не по-детски вялых от постоянного недоедания. Я глядел на нее и видел на лице этой еще молодой женщины морщинки от застарелых страданий. Кушакова посмотрела на меня и неожиданно рассмеялась. Даже чаем поперхнулась, замахала извиняюще рукой.

—Вспомнила тут одну историю, — заговорила Кушакова, сдерживая смех. — Маня ко мне часто приходит. Почтальонша наша. Ты знаешь, добрая она, Маня. И за ребятами присмотрит. У нее самой девочка, войне ровесница. И муж тоже на фронте. Так вот Маня моя нет-нет и принесет тарелку каши ребятам, то салыца кусочек. А как-то литровую банку пшеницы принесла. «Парь, говорит, ребят корми». Хлеб. Принимаю, как не примешь, если дети голодные на тебя смотрят. Принимаю, сама боюсь. Заметила Маня, говорит: «Ты не бойся, не ворованное. Мне приносят». «Кто?» — спрашиваю. «А это уж мое дело, подружка». Но разве от бабы чего скрыть можно? Ни в жисть! Узнала я: директивники носят. Директивник к пей похаживает и продукты носит. Не понимаю я таких женщин, но и судьей быть не берусь. Ее дело. А Маня мое молчание по-своему рассудила. Как-то о полночь пришла, шепчет: «У меня тетка спит, в гости пришла, а ко мне парни заявились. Двое. Чуть выпить им надо. Ты наспусти. Мы тихо, ребят не побудим. Выпьют, уйдут». Неудобно отказать,пустила Маню с ее гостями. Два таких красномордых. Директивники. Вели себя чинно. В лагере к дисциплине приучены видять. Я с ними ни-ни, как ни просили. Не люблю я этого, вольности такой. Подвыпили директивники, хвастаться нашли помалу. Оба при складах продовольственных. Мы, мол, можем то, можем другое... И пшеница у нас, и сало, и колбаса американская в жестянках. Мол, бамовцев кормим, которые план дают, ну и им, при складах, отламывается. Слушаю, и такое горе меня взяло. Думаю: вот муж мой где-то сейчас в окопе сидит или в наступление идет с автоматом, а эти в тылу околачиваются, как крысы, ей богу! Встать бы, выгнать всех, да чтоб с криком, но не могу. Вроде я им, вернее Мане, обязанная. Ну то, да се, пора расходиться. Маня уходит со своим, один остается, медлит, время тянет, знаю, что на у него на уме, у окаянного.

Говорю: «Ну идите, мне завтра на смену рано, спать надо ложиться». «А я бы тоже, говорит, не прочь прилечь», — сам по комнате бесстыжими глазами зыркает. «Нет, говорю (без крика так, вежливо), иди, да побыстрее. Не хочется мне на помощь звать, людей будить. Людям тоже завтра на работу. Разбужу, разозлятся люди: тебе и мне попадет». Понял, скис, быстро собрался, ушел. Перед уходом я ему в карман бушлата сверток с салом сунула, бутылку со спиртом недопитым. Не нужны подарки, так проживем...

Вот такой загул у меня был, — с беспечным смехом заключила Кушакова рассказ свой и смешной, и печальный.

— Отстали? — спросил я, имея ввиду директивников.

— Как отрезало, — посмеиваясь и кутаясь в платок, сказала Кушакова. — К Мане ходят. Слабый она человек. И жалко ее, и плюнуть иной раз хочется. Не мне судить. Каждый человек сам себе главный и строгий судья, так я понимаю.

Я засобирился домой. Кушакова присела поближе к горячей печке.

— Николке штаны надо к завтраму, к школе... Горит все на парне, залатать надо.

Я продолжал путь к дому, борясь с ветром и колючим снегом, секущим лицо. И мне представлялась топящаяся печь, усталая женщина у огня с шитьем в руках, спящие на кровати дети...

Хранительница огня, семейного очага.

КОЛОНИСТЫ



Лохтина Валя – бригадир садчиков кирпича

Утром в мой скромный кабинет тихо, как кот, вошел заведующий складом Степан Кузьмич. Он снял шапку-ушанку, обнаружив еще густую, несмотря на шестой десяток, не тронуту сединой шевелюру. Деликатно кашлянув, сказал:

— Я тут принес... списки. Что есть на складе, словом, — и положил мне на стол несколько листков, исписанных аккуратными буквами.

— А мне зачем? — недоумеваю, спросил я.

— Я к Кондратенко было пошел, он — к тебе... Чтоб ты, значит. Ну для контроля, для учета. Чтоб знать, что есть и так и аллее...

Высказав все это, Степан Кузьмич присел на продырявленный и измызганный (в спецовке садятся...) диван, положила рукавицы и шапку на колени. Я пробежал списки. Там значился спирт, картофель, соевая мука, резиновые и кирзовые сапоги, куски какой-то ткани, всего понемногу.

— Списки тебе, для учета. А сейчас идем, все в наличии покажу... Чтоб потом на меня... сам знаешь... Война... так и далее, — старик смотрел

на меня умными честными глазами. Я понимал его опасения. И отправился инспектировать склад. Он располагался в добротном из бревен строении. На воротах увесистый замок, какие называют пудовыми. В складе холодно, пахло кожей, рыбой, машинным маслом, красками. Степан Кузьмич водил меня по отсекам, кратко докладывал:

— Вот спирт питьевой. Десять литров. Когда на морозе кто работает... По сто граммов когда... Помогает... В первую мировую я воевал... В окопах... мороз. Водку давали. Стопку — ожил! Помогает. Сейчас я не пью. Давно уже.

— Сапоги резиновые... Для формовщиков и землекопов в карьере. Двадцать пар еще в наличии. Горят сапоги на бабах. Клею нет. Заклеить бы некоторые. На, возьми одни. Скоро поплывет. Бери, тоже ведь все время на улице, — протянул мне сапоги Степан Кузьмич.

Предложение было столь заманчивым, что потребовалось усилие отклонить его. Как можно ходить в сапогах, если рядом с тобой люди в калошах, рваных ботинках, в опорках. Как можно! Я отказался, и чуть радостнее стало на сердце. Как же, все-таки всегда приятна хоть маленькая победа над собственной слабостью. А Степан Кузьмич с одобрением смотрит на меня живыми серыми глазами.

— А как ты все это выдаешь? — спросил я, имея ввиду весь этот вожделенный дефицит.

— По записке директора. Ну и по твоей. А вы там согласуйте, — пояснил Степан Кузьмич. Я хотел уже покинуть склад, но Степан Кузьмич задержал меня.

— Вот камус достал Никандров накануне своего отъезда, — старик вытащил из-под стеллажа невыделанную шкурку, снятую с ноги лося. Из таких нанайцы шьют теплые и ноские тор- боса.

— Много шкурок?

— Штук пятьсот, — уминая жесткими пальцами шкурку, ответил старик.

— А может раздать нуждающимся? Пусть шьют обувь, — обрадовался я.

— Выдывать надо шкурки, а за самовольную выделку по указу — срок, — вздохнул Степан Кузьмич.

Да, был в те времена такой указ. Я сам видел, как рабочие завода, державшие до войны свиней, резали их, а шкуру закапывали в землю. В Комсомольске шкуры некому было собирать и обрабатывать для государства.

— Зачем же брали камус, раз запрет? — спросил Степана Кузьмича.

— Брали... Думали как-нибудь, втихоря выделаем... Кожемяку не нашли. А брали за кирпич. Без всяких денег, так на так, от охотсоюза. Весной пропадут шкурки. Раздать бы их надо.

Я пообещал решить вопрос с камусовыми шкурками.

Пошла вторая неделя нашей с Кондратенко власти на заводе. И каждый день мы открывали для себя что-то новое, часто очень тревожащее нас, озадачивающее, а то и повергающее в растерянность. Такую неожиданность мы с Кондратенко называли «след Никандрова»...

Таким следом для нас оказался зловещий топливный дефицит. Два вагона угля, задержанные в памятную ночь, не подавали еще три дня. С большими перебоями, уголь все же доставляли, но для обжига нужны обязательно и дрова. Мы прекращали на несколько часов все работы и выводили людей на пилку и колку дров. Не раз мы оказывались перед угрозой остановки обжига.

Сегодня я положил на стол Кондратенко сводку о дровах. Впервые за последние месяцы дров было запасено на три дня вперед.

— Вроде вырваться начинаем, — с плохо скрываемым торжеством говорю директору. Он хмурит домиком черные брови, мрачно молчит. Потом говорит с досадой:

— До первого бурана. Да и вывозить дрова с Амура не на чем. Бабушкин трактор пока не отремонтировал, подшипники по всему городу ищет. А лошади... Сегодня еще одна монголка пала. Кормим коней плохо, а работа каторжная.

Он долго и пристально глядит на меня: признак усиленных размышлений у моего директора-дебютанта. Он вытаскивает из стола список, показывает:

— Читай!

То был список личного состава отряда трудовой колонны, которая была прикомандирована к нашему заводу. Эти странные подразделения появились у нас в Комсомольске в сорок втором году. У них свой штаб, комсостав. Но одеты все в штатское, кто во что. В трудовой колонне народ в основном свыше сорока лет, но были и совсем молодые, еще зеленые юноши. Ни военные, ни вольнонаемные, ни заключенные. Их звали с оттенком пренебрежения — колонисты, подчеркивая неполноценность этих людей, подозрительную таинственность присутствия их в глубоком тылу. «Это в то время, когда наши солдаты гибнут на фронте, защищая свою Родину». Не чувствуя за собой никакой вины, колонисты сознавали ущербность, двусмысленность своего положения. Вели себя стесненно, как бедные, надоевшие всем родственники-нахлебники. Работали они плохо. Где справлялась наша одна кадровая работница, не справлялись четверо колонистов. Ни один не выполнял и четверти сменной нормы.

— Так работали наверно рабы Рима, — ругался Курносков, у которого на лесобирже на заготовке дров в основном трудились колонисты.

— Полсотни здоровых, трудоспособных мужиков, — задумчиво говорил Кондратенко, перечитывая список. — Если бы они на совесть работали, то мы бы и горя не знали. Ну как их заставить, как расшевелить? Главный инженер, предлагай.

— Что я предложу, не знаю, — отвечаю. — Давай сегодня сходим к ним, потолкуем по душам. Война идет к концу. С чем они домой будут возвращаться. Вот об этом и поговорим.

— А если еще из женщин кого-нибудь с собой взять? — предлагает Кондратенко. — Пусть постыдят, а? Ты как полагаешь? Мысль верная? Возьмем? Кушакову пригласим, бойкая бабочка.

Раньше мы не интересовались положением колонистов на производстве, особенно в быту. Ими занимался Никандров, да и то действуя через их командира, человека молодого, вечно пребывающего в отличном настроении. В обязанности командира входило вести кое-какой учет выхода подчиненных на работу. И все. По установленному Никандровым порядку и мы продолжали было действовать на эту непонятную и незнакомую нам людскую массу через командира Ефима Лымаря. Уроженец западной Украины, Лымарь, мало поживший в условиях советской власти, не успевший попасть в действующую армию, был вместе с другими «неблагонадежными» зачислен в трудовую колонну.

— А я что с ними могу поделывать, да? — возбужденно говорил Лымарь, сопровождающий нас в барак, где были поселены колонисты. — Ничего не могу! Они меня не слушают. В армии наряд можно дать, тут — ничего. Устное порицание. Вы вот сейчас узнаете, как они это порицание слушают. Пошлют к такой матери. А казахи? Те — видишь явно — ругают тебя последними словами на своем языке. Не поймешь их, да? Вот увидите сами, да?

Говоря все эти печальные слова, Лымарь не переставал улыбаться, показывая свои ослепительно белые зубы. И потому наверно не особенно приятные сведения принимались не так уж безотрадно.

Вечером, прихватив Кушакову, я и Кондратенко направились в барак, где жили колонисты. Барак был построен бойцами строительного корпуса еще перед войной. Там должны были поселиться те бойцы, которые работали на кирпичном заводе. Но началась война и все бойцы строительного корпуса, в первые же дни, покинули Комсомольск. Все они сражались под Москвой в грозном сорок первом, многие сложили головы, защищая столицу...

Внутри барак поражал своей пустотой. Какое-то несоответствие с жильем человеческим чувствовалось в этом огромном холодном помещении. Напротив входа стояла печь с обогревателем. Печь топилась, полыхая жаром. На веревках вокруг печи сушились портянки, валенки, бельишко. Густо пахло потом. Через минуту мы поняли, что несмотря на весело гудящую печь, тепло ее не согревало казармы, вдоль которой приткнулись полсотни топчанов. Отойти от печки на два шага, надевай ватник. Сквозь замороженные стекла дневной свет не проникает в казарму.

Первым нас заметил истопник, шуровавший кочергой в жерле печи. Он вскочил со скамьи, с нарочитой старательностью завопил на весь барак,

прикладывая к виску широкую ладонь.

— Р-р-ота, смирно!

— Отставить! — принял шутку Кондратенко. И истопнику: — К пустой башке руку не прикладывают.

— Это точно, обмишулился маленько, — весело согласился дневальный и протянул руку. — Будем знакомиться? Меня зовут Василий Алексеевич, фамилия самая что ни на есть русская — Иванюшкин.

Мужчина улыбался щербатым ртом, смотрел на нас дружелюбно светлыми глазами. Он наверно понимал, что мы несколько смущены, что ищем нужные слова для контакта с этими угрюмыми, настороженными людьми, ждущими от начальства какой-нибудь очередной неприятности. Колонисты сидели на койках в томительном безделье возле стола, некоторые, несмотря на ранний час, спали, укрывшись поверх одеяла ватниками и полушубками, для тепла...

Узнав о цели нашего прихода, Иванюшкин стал созывать всех к столу, стоявшему в окружении скамей посередине казармы.

— Живей, мужики, директор поговорить пришел, — покрикивал Иванюшкин. В ответ недовольные реплики:

— Говорили уже, не раз...

— На словах как на гусях!

— Небось опять про нормы?..

— Господи! Ну чисто лагерь. Да там хотя лучше кормят...

Мы не заметили, как вслед за нами в казарму проникли ребяташки Кушаковой. Женщина хотела было их выгнать, но они разбежались по казарме, с любопытством рассматривая убогое убранство неуютного жилища колонистов, и приткнулись к койке бородатого мужчины. Я уже потом увидел, чем заинтересовал ребяташек бородатый. Он видимо уже давно сделал игрушку: четыре деревянные курочки клевали торопливо зерно, стоило покачать крашеную фанерную доску, на которой они закреплены. Рады были дети, и не меньше их радовался их радости бородатый мужчина, наверняка оставивший далеко в центре России, где-нибудь под Воронежем, семью, вот таких же белобрысых ребяташек...

Люди нехотя, но к столу подходили, оставляя начатую починкой рубаху или валенок, недоеденную похлебку в консервной банке (ужин в столовке — на кролика). Молчаливые, насупившиеся, они рассаживались вокруг стола, только что прибранного Кушаковой. Она не успела зайти в казарму, как сразу же запричитала и заохала, по-женски страдая душой от такой вот запущенности.

— Мужик он и есть мужик, — приговаривала она, принимаясь за приборку. — Баба за порог, он уже по уши в грязи. Лень пол подмести. Эй, — позвала она парня, сидевшего на постели. — А ну бери веник. Ишь расселся!

Другого молодого колониста послала к себе в барак за корытом и тот

живо и охотно исполнил приказание. Пол подметался, портянки рукой Кушаковой сняты с веревок и замечены в корыте.

— Высохнут быстро, не бойтесь, — с улыбкой успокаивала она мужчин, встревоженных мыслью остаться утром без портянок. — Вот помоем, пот повыжмем, повысушим, так тепло будет и сухо, и без смрада этого. Ноги-то надо чаще мыть. Эх вы, опустили вы без баб!

Добродушная воркотня женщины прямо-таки благотворно влияла на обитателей казармы. Люди на глазах оттаивали душой, заулыбались, слышались шутки:

— Нюра, ты бы с нами оставалась, похозяйствовала у нас.

— Мы б тебя слушались.

— В сыновья возьмешь?

— Нужны вы мне, охламоны! У меня вон свои сыны есть. Есть за кем ухаживать, — незлобиво отбивалась Кушакова.

Сперва недоверчиво, с недомолвками, с подковырками начавшаяся беседа, становилась все откровеннее и конструктивнее. Мы терпеливо выслушивали все, что накипело в сердцах этих обездоленных людей. Больше и чаще других, от имени собравшихся, говорил Иванюшкин.

— Вот вы нас обвиняете: работаем плохо, — рассуждал он. — Но ведь к нам и отношение плохое. Посмотрите как живем? Всю зиму минусовая температура. А на поселке десятки комнат пустуют, жить в них некому. Когда нас пригнали на завод, мы было заняли комнаты эти, а Никандров согнал нас вот в этот сарай.

— Говорил Никандров: вы люди почти военные, вот и живете по-военному! — выкрикнул кто-то.

— Тихо, товарищи, — поднял руку Иванюшкин. — Давайте по порядку. Согнал в сарай этот. Приставил к нам коменданта Служеникина, чтобы побудку делал, отбой.

— Надоел нам Служеникин, уберите его от нас! — крикнул бородатый, подаривший ребятишкам Кушаковой игрушку.

— Подождите, — вел разговор Иванюшкин. — О коменданте потом. В столовке нас обслуживают в последнюю очередь, талоны на дополнительное питание, муку там соевую, котлеты соевые совсем не дают. Ни разу. Другим всем дают. Несправедливо это.

Мы слушали жалобы этих обиженных людей, окруженных незаслуженным недоверием. Мы сами испытывали это недоверие на себе постоянно, воспитанное еще в довоенные годы когда даже в очень знакомом человеке под воздействием наветов мы подозревали врага народа или его пособника. А колонисты, перебивая друг друга, говорили о себе, о своих нескладных судьбах людей, разметанных по земле ураганом беспощадной войны, беспощадного времени, в котором не принято заниматься каждой отдельной судьбой, человеческой личностью. Вал первоначального наступления немецко-фашистских войск подминал,

тащил по земле, выбрасывал на незанятую врагом территорию массы людей. Кто вышел из окружения, кто еще не успел отобилизоваться и, порой, прямо от сборных пунктов военкомата бежал с узелком, собранным матерью, на восток, к своим, с надеждой получить там назначение в воинскую часть. Были среди колонистов бывшие партийные и советские работники, председатели колхозов, городская и сельская интеллигенция. Сам Иванюшкин был председателем колхоза под Смоленском. Успел эвакуировать скот, ценное имущество, многих людей. Сам пошел в военкомат. Направили в трудовую колонну.

— Может нужны такие части, но зачем же бирку неблагонадежных нам на шею вешать? — задавал он нам горький вопрос от имени себя и всех собравшихся в этой странной и отвратительной казарме.

— Никандров нам что говорил, — крикнул снова бородатый. «Если вы не были ничем запятнаны, то воевали бы на фронте. А на Дальний Восток, мне думается, вас везли, ой, не зря! А поэтому — работайте и помалкивайте. И о правах своих мне побасенки не рассказывайте».

Беседа затянулась до полночи. Нюра давно отвела детей спать, вернулась. А мы все говорили. Мы твердо обещали колонистам решительно изменить отношение к ним.

— Считайте себя такими же рабочими, как все. Талоны на дополнительное питание будете получать наравне со всеми, на общих основаниях, — разъяснял Кондратенко.

— А жить в этой труппе?

Завтра же разрешаю всем переселиться в пустующие комнаты.

Колонисты обрадовано загудели:

— Вот за это спасибо!

— Хоть жилье будет человеческое!

— И в тепле, и сварить что себе на печурке.

— Посушиться вольготнее, аль постирать что.

Самые нетерпеливые кинулись к своим топчанам собирать пожитки, загремели крышками самодельных сундучков.

По просьбе колонистов вызвали Служеникина. Заспанный, и испуганный, он смотрел на всех непонимающими белесыми глазами. Был он худ, плюгав, с безбородым лицом скопца. Моргая рыжими ресницами, он спрашивал:

— И чем дело? Почему не спите? Нарушаете... — но, заметив, что мы с Кондратенко смотрим на него осуждающе, неодобрительно, хитрый Служеникин сразу угадал наше настроение и умолк, выжидая очередную реплику, чтобы определить свое отношение к происходящему. Мы-то хорошо знали Григория Егоровича Служеникина. До войны, в конце роковых тридцатых годов, он ходил у нас в секретарях ищи ячейки. Это были печальные трагические годы тотальной слежки, подозрительности, в мутной воде которой плодились и чувствовали себя вершителями судеб,

исполнителями высшей воли, вроде Служеникина, выродки. Недалекий попросту говоря дурак, он не мог логично мыслить, говорить. Когда выступал на трибуне, то из всей словесной шелухи, изрыгаемой этим человеком, запоминались только здравицы в честь «вождя народов». Кричал противным фальцетом, брызгая слюной: «Да здравствует вождь мирового пролетариата... продолжатель... Ура, товарищи!» Люди заученно-послушно, казенно кричали «ура!», ощупываемые рыбьими глазами Служеникина.

Такой вот был Григорий Егорович Служеникин, ныне комендант общежитий поселка. И коммунальником он был никудышным. Держался на посту благодаря тому, что числился хоть и в маленькой, но номенклатуре после секретарства, да еще благодаря всеобщему привычному пренебрежению парода к своему быту. «Лишь бы немца побить! Что там быт...» Об умственной тупости Служеникина ходили анекдоты, основанные на реальных фактах. Согнал же Григорий Егорович тех же безропотных колонистов из казахов в только что пущенную в действие дезинфекционную камеру и приказал пожарче топить ее, чтобы «вшей выгнать» из одежды. Больше пятидесяти градусов колонисты не выдержали, разбежались, повергнув в скорбь заботливого администратора. Люди хохотали, прознав про распоряжение Служеникина.

— Вы больше не касайтесь колонистов, Григорий Егорович, — сказал Кондратенко. — У них есть командир, Ефим Лымарь. Он ведет учет, отвечает за организацию труда отряда.

— Так он же спать к жене ходит, Лымарь-то, — хмыкнул презрительно Служеникин. — А за людьми присмотр нужен. Я ведь не по себе сам, я по приказу. Никандров приказал.

— Я отменяю приказ, — сухо сказал Кондратенко.

— Ну если так... — недовольно пробормотал Служеникин и покинул казарму, правильно поняв, что больше тут не нужен.

Пока мы выясняли отношения с колонистами, уточняли детали переселения и другие вопросы, Кушакова долго о чем-то говорила с мрачным чернобородым казахом, мужчиной лет сорока. Взгляд его черных глаз был диковатым, не допускающим какого-либо сближения. Этого, наглухо замкнутого в себе со своими душевными тайнами человека, побаивались все — и колонисты, с ним жившие, и все, кому приходилось с ним общаться. Служеникин, так тот звал казаха басмачом. «Дай ножик, не моргнув глазом, прирежет», — говорил он. Вот уже полмесяца «басмач» не выходит на работу. И если за ним посылают, «басмач» молча показывает ногу, разматывает грязные, дурно пахнущие тряпки со смуглой ноги. Посыльный брезгливо машет рукой и оставляет «басмача» в покое. И вот этот угрюмый человек говорит о чем-то с Кушаковой. Я увидел, как казах поставил больную ногу на табурет, стал разбинтовывать ее, скаля от боли белые зубы и бормоча что-то. Кушакова тем временем принесла ковш

горячей воды с плиты, таз, стала промывать ступню «басмача». В руках ее появилась белая тряпка, наверно принесенная из дому; она умело и быстро забинтовала ногу.

Когда я подошел к ним, казах уже прилег на постель, смотрел на женщину полными благодарности глазами.

— Мужик — он и есть мужик, — снисходительно говорила Кушакова. — Пусть он русский или казах — все одно. Этот чудила указала на больного, — приморозил большой палец. Загнивание. Недалеко и до гангрены. Промыла марганцовкой. Я своих ребят всегда марганцовкой лечу. Поправится. А то ведь и без ноги можно остаться. Ты понимаешь, Рашид? — обратилась она к казаху. Тот согласно закивал головой, говоря что-то по-казахски.

Поправляйся, на работу выходи. Сидеть будешь — пропадешь. Не от болезни, от тоски пропадешь, — сказала на прощание своему пациенту Кушакова и покинула казарму. А мы с Кондратенко задержались. Люди так разговорились, что не могли остановиться. Беседа, словно костер от новых хворостинок, не затухала, огонь новой темы вспыхивал снова, затейливо змеился, возобновляемый все новыми фразами. Тут я заметил одну из кроватей пустой, аккуратно прибранной. На сером одеяле лежала гитара с поцарапанной декой и голубым бантом на грифе. На стене над кроватью — фотографии молодого человека в обрамлении еловых лапок.

— А чья это постель? — спросил я.

— Теперь уже можно сказать — ничья... — отозвался Иванюшкин.

— Погиб один наш... Петя Воротников, — уточнил Лымырь, блеснув зубами в печальной улыбке. — Да вы наверно знаете... Убил его Омелин, осенью прошлой...

И вспомнил эту трагическую историю.

Редко, но возвращались «по чистой» солдаты с фронта. Их окружали сочувствием и уважением — защитники, кровь прошивни за свою землю, за народ свой. И не кичились фронтовики своими ранами, увечьями, не рассказывали о своих героических подвигах, вели себя скромно. И это объединяло их, придавало их облику основательность и мудрую сдержанность, и .в да особо ценимую в народе, как известно, презирающего пустобрехов и хвастунов.

Вот таким хвастуном был Акакий Омелин, мастер ОТК. Он был призван в действующую армию в конце сорок третьего года, до того времени состоя на «броню». На фронт побыл недолго. Попал по ранению в госпиталь, а потом и домой прибыл к жене. Оставался все таким же плотным, цветущим мужиком. Он сильно обижался, когда ему говорили, что он и на фронте не был совсем. В таких случаях он закатывал штанину и показывал на икре багровый шрам. «Вот! — кричал Омелин. — В атаку ходил. За Родину, за Сталина! Пулей вдарило. Тебя бы туда, мать твою не туда!». Он постоянно требовал для себя каких-нибудь привилегий, уступок, послаблений.

Задумав вырвать себе еще пару соседних комнат в бараке, он потребовал, чтобы переселили Нюру Кушакову в другой барак, а ее жилье предоставили ему. Он не желал слушать, что Кушакова — солдатка. А когда ему категорически отказали, то Омелин пришел однажды в кабинет Никандрова, вынул веревку из кармана и стал ее привязывать к трубе отопления.

— Ты — что, очумел! — закричал Никандров, побелев.

— Не видишь? Вешаться пришел. Пусть все знают, как на нашем заводе к защитникам Родины относятся, как изгаляются над ними! — нарочно кричал Омелин, чтобы было подальше слышно.

И расчет его оправдался. Набежали люди, стали уговаривать. Струсил и Никандров. Не хотелось ему связываться с вредным Омелиным. Уговорил Кушакову перейти в другой барак, дав ей получше комнаты, а ее жилье отдал Омелину. Торжествовал Омелин, посмеивался: «Мне, фронтовику, отказывать? Это тому, кто кровь проливал? Тыловик отказывает? Да я до самого главнокомандующего дойду, а правду найду!»

А вскоре Омелин стал героем другого, всех встревожившего случая, трагическая нелепость которого возмутила буквально всех на заводе и поселке. Омелин подкараулил на своем огороде колониста, совсем молодого парнишку, пытавшегося вырыть куст картофеля, и выстрелил почти в упор из охотничьего ружья. Мне пришлось стать свидетелем этого дикого происшествия. Осенним вечером ко мне прибежал старик-вахтер и трясущимися губами еле передал просьбу Якова Никитовича Копейкина придти в пожарное депо.

— Что произошло? — допытывался я у перепуганного старика, сам обливаясь холодным потом от нехорошего предчувствия. Но старик только махал рукой и мычал как от зубной боли.

В пожарном сарае стояли несколько человек. Увидев меня, расступились. На полу лежал скорчившийся от боли человек в защитного цвета бушлате.

— Вот, колониста убили, — глухо сказал Яков Никитович, указав на Омелина. Тот глядел на меня, словно именно я решаю, я буду главным судьей во всем случившемся, протянул мне фуражку. В ней лежали три картофелины.

— Там, в борозде подобрал. Видите? — хрипло заговорил Омелин. Он поворачивался от одного к другому, протягивая фуражку, чтобы увидели все. Но люди отворачивались от него со стыдом и презрением, словно боясь запачкаться о его взгляд. Лицо Омелина исказилось, посерело, словно подернулось пеплом. Он понял, что эти люди, и все другие, отметили его каиновой печатью. И ничто не может смыть той позорной печати. Ничто! Он впервые, пожалуй, в жизни испытывал такой ужас, беспомощность перед неизбежным, какого наверное не испытывал, когда ходил в свою первую и последнюю атаку на фронте. Ему никогда не простят смерть этого

голодного мальчика, лежащего на грязном полу пожарного сарая, с поджатыми по-детски коленями к груди. Омелин осмелился, посмотрел на юношу. В это мгновение дрогнула рука юноши.

— Он жив! — закричал Омелин. — Лошадь надо... В больницу! Слышите... Быстрее надо!

Яков Никитович опустил на колени над убитым, потрогал пульс, потом приложил ухо к груди, открыл веки, закрыл, поднялся, сказал глухо дрогнувшим от слез голосом:

— Умер он. Милиционера надо вызывать.

— Зачем — милиционера? — втянул голову в плечи Омелин — Он копал, я стрелил. Закон что говорит? Стреляй, говорит закон. Так, да? Я и стрелил... по закону...

— Молчи, ты, — закон! Нет закона убивать голодного человека. Врешь ты, Омелин, — оборвал его Копейкин.

Омелин суетливо и неуместно положил фуражку с картофелинами на пол возле головы убитого, и, с непокрытой головой, на цыпочках пошел к выходу, провожаемый суровым молчанием.

На бессмысленное убийство Омелина толкнула не только жадность, доводящая корыстолюбивого человека до исступления, до сумасшествия. Виной тому было и бытующее тогда пренебрежительное отношение к любому человеку, помеченному подозрением официальных органов в неблагонадежности. Вот и к тем же колонистам относились как к людям неполноценным, даже вредным для общества. По тем временам на них не распространялись естественные человеческие чувства: милосердие, сострадание. Да и вообще наличие таких чувств, проявление их считалось слюнтяйством, присущим лишь «гнилой интеллигенции», ненужной сентиментальностью, вредной для дела построения социализма. Так размышляли и все мы в разной степени очерствения душ наших, так размышлял и Никандров, отгородив от коллектива завода колонистов. И если у Никандрова это пренебрежение и недоверие тем и ограничивалось, то тупой ум Омелина это пренебрежение ожесточил, огрубил. Он стрелял в юношу, словно то была собака или свинья, забредшая в его огород.

Я высказал свои соображения Кондратенко, когда мы шли домой, оставив в возбужденном состоянии обитателей казармы.

— Ты прав, Гена, — согласился он. — Мы тоже хороши. Могли бы и раньше вмешаться, помочь людям. — Он помолчал и добавил с печалью: — А мать-то, того Воротникова, все пишет ему письма. Иванюшкин говорит, что не знает как и быть. Ответить боится. Мать пишет, что отец убитого погиб на Висле, под Варшавой... «Хоть ты живой придешь». Страшное дело!

— А написать матери надо, — замечаю я.

— А что ей, легче будет?

На этот вопрос я не знал что сказать...

НОЧНАЯ СМЕНА



Сунгурова Маша - дозировщица на прессе

В ночную смену мы с Кондратенко дежури́м по очереди. Мы еще не осмелились полностью доверять мастерам, десятникам, начальникам цехов. Если бы и не дежурили, все равно не спали спокойно. Уж лучше быть на заводе и встречать лицом к лицу все беды, припасенные судьбой. И еще мы убедились: наше присутствие ободряет людей: «Я мучаюсь, не сплю, но и руководители завода переносят вместе со мной все тяготы ночной смены. Не я один, не я один...» Только ли на кирпичном нашем, почти безвестном, заводе действует что человеческое сознание общности бытия, сочувствия, сострадания, участия, готовности подать руку, если ты приослаб? Даже легкое прикосновение дружеской руки человека, понимающего тебя, твое душевное и физическое состояние, вселяет в тебя чудесную силу, дремавшую в самом тебе.

Зимний день угасал, шла быстрая пересмена во всех цехах. Отработавшие день покидали холодные, смрадные цехи, шумно отправляясь домой. Молчаливые, сосредоточенные сменщики занимают места ушедших товарищей у формовочного пресса, транспортеров, на глиняных уступах карьера с его погребной сыростью, в пыльных камерах обжиговой печи. Изнуренная многолетним, почти непосильным трудом, вынужденным постом голодных военных лет, плоть человеческая страдала и тосковала в предчувствии долгих часов напряженной физической работы. Потому-то и молчаливость, и неторопливые скупые движения, расчетливые и точные: надо экономить силы. К этому уже привыкли, и поступают так бессознательно, автоматически.

Я уже собирался отправиться в обычный обход по цехам, когда меня задержали Лымарь и Иванюшкин. Оба возбуждены и рассержены.

— Товарищ главный, опять бух воду мутит, — сердито начал Иванюшкин, преграждая мне дорогу. — Вот, — помахал он листком бумаги. — Не дает талоны на дополнительное питание. Говорит: «Не положено». А директор разрешил, подпись есть. Бухгалтер говорит: «Пусть

еще подпись поставит, я против. Дважды распишется, тогда пусть талоны транжирит».

И еще что-то говорил Иванюшкин, а Лымарь только вторил ослепительной своей улыбкой: «Да, да, все так!».

Я взял листок и отправился в бухгалтерию.

О главном бухгалтере Мацафее стоит хоть кратко кое-что сказать. Он приехал на Дальний Восток за длинным рублем из Одессы еще в канун войны. Война застала его на нашем заводе. Война, как известно, всех оставила там, где застала, не согласуясь с волей людей. Невысокого роста, плотный, короткошей, с черными выпуклыми близорукими глазами, спрятанными за толстыми стеклами очков, этот пятидесятилетний мужчина всем своим независимым респектабельным видом заставлял невольно относиться к нему уважительно. Мацафей нередко заносчиво спорил с Никандровым, человеком неуступчивым, волевым. Конфликты у них, как я понимал, чаще происходили не на деловой почве, а из-за амбициозных соображений. Уж очень любил бухгалтер Мацафей называть себя и чувствовать государственным контролером, и, при случае, лишний раз напомнить об этой своей прерогативе. Ну а теперь, когда мы с Кондратенко «взяли бразды правления» в свои, еще неумелые, как правильно полагал Мацафей, слабые руки, вспышки амбициозности у главбуха участились. Он упорствовал на каждом шагу, при любом случае с тонкой издевкой подчеркивал нашу некомпетентность во всяких «сальдо-бульдо», «дебитах-кредитах», нашу экономическую безграмотность. Мы оба злились, потели вечерами над книгами, вникая в таинства тройной бухгалтерии, листая всякие отчеты, накладные. Но это пока мало нам помогало. Мацафей торжествовал и властвовал. И он нам был нужен, а мы ему нет. И мы то и дело, оставив в сторону самолюбие, снимали перед торжествующим наглецом шапку, просили выручить, научить, благодарили униженно «за науку».

Нот такой он был, главбух Мацафей. К нему я и пришел со злополучной бумажкой. Вздернув подбородок, Мацафей с победительной улыбкой взглянул на меня, пропел с недоброй вежливостью:

— Слушаю вас, товарищ главный инженер.

Слово главный он подчеркнул, давая лишний раз понять, что он, Мацафей, профессиональный бухгалтер, который работал в лучших конторах Одессы, не признает меня инженером. Диплома-то у меня нет, одна должность. Прав старый хрыч! Ну и пусть не признает, а мне работать надо, и с ним, кстати, работать. Как можно спокойнее я говорю:

— Надо выдать талоны, товарищ Мацафей.

— Я уже сказал: нужна вторая подпись администратора, — напыжился главбух.

— Я подпишу.

— Нет, нужна подпись директора, — непреклонен Мацафей.

—Он в тресте.

—Это меня не касается.

— Очень даже касается, — рассердился я, вспомнив о документе, лежавшем в моем кармане. — Вы вот тут играете роль ревностного хранителя государственных интересов, а сами не очень-то считаетесь с ними.

— Я бы попросил вас выбирать выражения! — вскричал возмущенно Мацафей, вскакивая со стула. А он, коротыш Мацафей, может казаться прямо-таки грозным. Ишь, взъярился.

Я вынул из кармана расписку, случайно обнаруженную мною в бумагах Никандрова, оставленных в столе. Расписка гласила: «Гов. Мацафей! Выдайте 100 (сто) талонов на допол. питание. Тридцать талонов разрешаю взять Вам, лично. Подтвердите подписью». «Сто талонов выдал, 30 взял себе. Мацафей». Я не читал расписки, только показал Мацафею его подпись.

—Откуда она у вас? — потемнел лицом Мацафей.

—Какая разница? — ответил я.

—Не скажите... — невесело усмехнулся Мацафей.

— Есть еще несколько списков с поддельными подписями. Показать?

— Не надо, — сухо сказал Мацафей. — Давайте-ка список.

Мацафей подписал список, подавая мне, заметил с кривой усмешкой:

— Не советую копать... с этим дополнительным питанием. Да, признаюсь, я брал, незаконно это. Но не один я. Тут еще кое-кто замешан, кроме Никандрова. Вы, конечно, сами понимаете?

— Понимаю я это, — говорю. — Советую в свою очередь больше не пытаться жить за счет других. Вы же у людей кусок хлеба рвете изо рта. В фиктивных списках — имена колонистов, а они почти не получали талонов. Это мародерство.

— Ну, ну, какие громкие слова, — поморщился Мацафей. — Приглядитесь, молодой человек, кругом все так делают. Вам с этим повальным грехом совладать? Бросьте вы!

— Что — кругом, то меня не касается, а у нас на заводе хватит людей обманывать, — твердо заключил я эту неприятную беседу, наивно тогда полагая, что так оно и будет...

Фиктивные списки, фиктивные подписи, это часть обмана. Другая часть заключалась, как я выяснил, в том, что по сговору с заведующим столовой эти талоны отоваривались жирами, рисом, мукой и другими редкостными в дни войны продуктами. Люди, имеющие отношение к распределению продуктов и других товаров, потерявшие совесть, как крысы тащили в свои норы пищу, принадлежащую другим, тем, кто ковал, как говорится, своими руками победу; тащили, вырывали изо рта детей и стариков. Придет время и об этом скажут во всеуслышание. И осудят тащивших. К этому осуждению прибавлю и свои вот эти свидетельства.

Лымарь и Иванюшкин обрадованы. Иванюшкин сказал:

— Сегодня наши ребята поужинают хорошо. Рис на талоны, лярд. (*Лярд, смалец – жир, вытопленный из сала*) Мы вот, с Ефимом, десятерых на разгрузку угля ставили. Два вагона только что подошли. Я сам с ними буду мочью работать. А Ефим на печь пойдет. Там на уборке половняка (*Половняк – распиленный пополам и более мелкие части кирпич*) наши мужики заняты.

— А молодая жена как? Не получит выговор, Дымарь? — шучу я.

— Потерпит. Мужиков-то теперь мало, обижать их опасно, — весело скалитесь Дымарь.

После нашей беседы с колонистами, они все, на другой же день, переселились в пустующий барак. Ожили мужики, оттаяли, смотрят веселее, даже ходят не горбясь, как раньше. Великое дело для человека — жилье, угол, который равняет его с другими людьми, а не отделяет стеной недоверия, как та постылая казарма Никандрова. Сразу сократилось число невыходов по болезни, поползли вверх показатели выполнения норм выработки. Правда, до ста почти никто не дотягивал, но тенденция была, и мы с Кондратенко стали выдавать колонистам талоны на дополнительное питание, выдавали им спецодежду и обувь из наших скудных запасов. Хотелось поддержать людей, совсем было отчаявшихся доказать, что они не те, за кого их принимают или хотят принять.

Завод стоит на берегу Амура в том месте, где река делает крутой поворот. И когда дуют южные ветры, то они беспрепятственно обрушиваются на убогие строения нашего заводика, словно хотят смести его с лица этой суровой земли. Редкий день, чтобы тут не дули ветры. И сегодня с Амура потягивает сильный верховой. Он быстро выдувает из человека запас тепла, накопленный в помещении. Я выхожу из кон- горки, начинаю свой привычный обход завода по технологической цепочке. Только направился было к дверям глухо грохочущего формовочного цеха, услышал в темноте женский плачущий крик. Иду на голос. Неподалеку от конторы на дороге лежит впряженная в сани лошадь. Возница пытается помочь лошади подняться, но животное не очень-то и содействует хозяйке: чуть шевельнется, и опять положит голову на оглоблю. Узнаю возницу шамота Тараканову.

— Второй раз седни падает, осподи... — всхлипывает женщина. Я распрягаю лошадь, освобожденная от повозки, она с тяжким вздохом встает на дрожащие ноги. Мы ведем ее, еле-еле переступающую ногами-палками на конюшню. Здесь большинство стойл пустуют. В последнюю военную зиму одна за другой подымают лошади от бескормицы и непосильной работы. Конюх Иван Игнатьевич Николаев, пожилой, пожилой многолетний мужчина, страдающий язвой желудка, чуть не плачет, обтирая заиндевевшую морду лошади-монголки, доставленной нами.

— Хоть сам ложись в кормушку, — говорит он с горечью. — Сено

гнилое, вместо овса — овсяная лузга. Да и ту несколько раз просеяли, пока доездили до нас. Труха одна.

Берем другую лошадь, тощую, с выпирающими ребрами. Я запрягаю ее в сани, Тараканова чмокает замерзшими губами, дергает вожжи:

— Трогай, милая!

Лошадь дернула сани, пошла. Эта поработает. Без шамота нельзя формировать кирпич, резко ухудшится качество. Да и никак нельзя допустить простоя. В этом месяце уже дважды возили шамот на себе... К весне последние лошади могут пасть, надо подумать, как доставлять шамот на формовку.

Формовочный цех встречает меня подозрительной тишиной. По звону молотка определяю: что-то поломалось, разладилось в стареньком прессе или резательном станке. Так оно и есть! Слесарь Никита Манаенко, поругиваясь, роется во внутренностях резательного автомата, а женщины сидят кто на чем попало и слушают съемщицу кирпича Полю Сапрыкину. Певучим северным говорком она с удовольствием пересказывает сон:

— Приезжаю я, девки, домой, а маманя у ворот меня ждет. «Иди, говорит, Пелагея, поешь с дороги». Зашла в избу — стол ломится от кушаний разных. Тут тебе и пироги, и каша молочная просяная, и кисель овсяный...

— Замолчи ты, окаянная! — сердится Даша Перетрухина, напарница Пелагеи по съемке кирпича со столика-автомата. Эта операция самая трудная на прессе, требующая мужской, не женской силы, особого умения. И Дарья Перетрухина считается лучшим специалистом в этом деле, и поэтому пользуется у формовщиков особым уважением. Ее голос в любом споре — решающий.

— Я люблю про пищу думать, — признается Пелагея.

— Вот и думай про себя, а нам душу не бери, и так тошно, — упрекает Перетрухина подругу.

- А я свою пайку хлеба на весь день тяну, — задумчиво творит Маша Сунгурова. Она стоит на металлическом мостке у огромного сместительного корыта, возвышаясь над всеми словно капитан корабля. Сунгурова отламывает кусочек от сырого ломтя в кармане спецовки, кладет в рот, признается:

— Вкусно! Другие с утра все слопают, а я понемногу... Вот кончится война, наемся хлеба вдоволь.

Женщины заговорили о делах на фронте. Три темы главные их женских бесед: дети, пища и сводки с фронта, где их мужья и братья.

— Вон, главный, пусть скажет, что на фронте! — крикнула Сунгурова, первой увидевшая меня. Я оказался в центре внимания. Пересказал сегодняшнюю сводку Совинформбюро. Идут бои за город Будапешт...

— За каждый дом... — повторила мои слова Перетрухина. — Эх, кому-то плакать, бабоньки. — Она поднялась с места, поправила на груди

негнувшийся резиновый фартук, скомандовала:

— Давайте, бабы. Наши там воюют сейчас, день там, а мы сидим. Никита, ты скоро там?

— Готово, милые, — отзывается Никита, вылезая из утробы станка. — Сунгурова, включай!

Защелкал магнитный пускатель, заработал пресс, сместительное корыто, транспортер... Из мундштука прессы показался блестящий от воды глиняный брус. Гильотинный удар лучка со струной — и отрублен от четырехгранного бруса один кирпич, другой, третий... Двадцать тысяч таких кирпичей в смену должны снять со станка Дарья и Пелагея, передать укладчицам. Те уложат сырой кирпич на полки вагонетки. Вагонетки с четырьмястами кирпичей закатят в тоннельные камеры сушилки откатчицы.

Под шатром гофманской обжиговой печи холодно как и на улице — во множество ворот врываються сквозняки. В сочетании с теплом в камерах с остывающим кирпичом и этими сквозняками, царствующими под печью во все времена года, создается простудная обстановка. Поэтому так часто болеют садчицы кирпича. Но редко бюллетенят, чаще перемогаются, продолжают работать с температурой, постепенно разрушая свое здоровье, подтачивая его пренебрежением: «Ничего, покашляю, пройдет».

Под деревянным шатром печи тускло горят лампочки, еле освещая узкоколейный путь, опоясывающий по эллипсу гофманскую печь. Женщины сгрудились возле вагонетки, груженной сырцевым кирпичом, пытаются поставить ее на рельсы. Две работницы неумело подсовывают под раму вагонетки деревянную вагу. Ну не так! Бабы есть бабы... Подхожу, берусь за вагу, меняю точку опоры, все вместе наваливаемся на бревнышко, вагонетка встает на рельсы. Все облегченно вздыхают, привычно ругая «проклятую» вагонетку, всегда на «этом самом месте» норовящую сойти с рельс. Вагонетка, а весу в ней с сырцом — две тонны, закатывается на специальную платформу, называемую никому непонятным немецким словом шебебюня. На этой платформе вагонетка довозится до нужной камеры в печи, где идет садка сырца для обжига. Десятеро, упираясь изо всех сил, катят этот симбиоз из металла и глины. Колеса шебебюни на восьми роликовых подшипниках даже без вагонетки катятся плохо: ролики уже давно делаются кустарно в мастерской из неподходящей стали. Они скорее тормозят движение, а не облегчают его. Под шатром слышится команда бригадирши садчиц Лохтиной Валентины:

— Девки, еще раз — взяли! Ну еще разик, девоньки!..

До войны на садке работали самые крепкие парни, отслужившие свой срок в строительном корпусе. Они катали вагонетки, садили кирпич. И делали это по-мужски ловко и споро. С началом войны с завода разом ушли все мужчины призывного возраста. Ушли из глиняного карьера, с формовки, садки, обжига, выгрузки кирпича из печи — самой трудоемкой операции. Место мужчин заняли девушки и молодые и пожилые женщины,

их невесты, сестры, жены. На их плечи лег тяжелый труд производства кирпича, с самой отсталой технологией, не изменившейся за последние двести лет. Примитивные попытки механизировать труд кирпичников в лучшем случае ограничивались включением в технологический процесс отдельных механизмов, которые, кстати, и сами без помощи человека, как эти шебебюни, не в состоянии выполнять какую-нибудь работу.

Разве можно наблюдать со стороны равнодушно, когда люди выбиваются из сил. Берусь помогать катить вагонетку. Рядом пристроился Иван Кириенко, красивый мужчина с лихорадочным чахоточным румянцем на смуглых щеках. Кириенко вернулся с фронта больной, простуженный в окопах, в критической стадии туберкулеза. О безнадежной судьбе своей он знал и относился к этому со стоическим спокойствием. «Много мертвых товарищей пришлось повидать на фронте, — говаривал он. — А я чем лучше их? Умру, другие будут жить». Наверное, мысль — «другие будут жить» — согревала его и придавала ему сил и неиссякаемого оптимизма. Кириенко не пошел на инвалидность, а напросился на свою старую хлопотную работу десятника гофманской печи.

Когда вагонетка была доставлена на место, Кириенко отвел меня в сторону.

— Мордуем девок, — крикнул в сторону садчиц, хлопотавших возле вагонетки. — Не могу спокойно смотреть на их каторжную работу. Только что не прикованы они к этой вагонетке.

— Что поделаешь, — вздохнул я.

— Есть у меня мыслишка: лебедки надо поставить и таскать вагонетки тросом.

— До войны пытались лебедкой, не получилось, — припомнил я.

— До войны пробовали, знаю, но тогда людей много было, мужиков, а нашему главному механику Чернову лишний механизм — кость в горле, забота лишняя. Чернов, чуть кто предложит что-нибудь механизировать, толдонит свою присказку: «На кирпичном заводе в Нижних Котлах, что под Москвой, эту операцию вручную выполняют, а вы тут, на Амуре, хотите смудровать. Не нужна такая механизация. Кирпич, он руки любит, ласку любит кирпич. Вон раньше-то какой был кирпичик, его хоть замест хлеба ешь...» Любому заморочит голову Чернов. И Никандров к нему всегда прислушивался.

— Ну и что ты конкретно предлагаешь? — спрашиваю.

— Возьмем с заброшенного карьера две лебедки, поставим под шатром. А ты в тресте трос проси. Метров двести нужно. Договорились? А монтаж мне ребята из мастерской помогут сделать. Манаенко обещал помогать в свободное время.

Девчата тем временем закатали вагонетку с сырцом в печь. Тут тоже сноровка нужна — вкатить вагонетку через узкий ходок-лаз, не задев стенку печи, не опрокинув вагонетку. В самой печи рельс нет и колеса идут

по стальным листам, брошенным на пол. Ярко горит переносная лампа. Садчицы, не теряя времени, выстраиваются по давно отработанному порядку. Сама бригадирша Валя Лохтина укладывает основание садки, рядом такую же операцию выполняет ее помощница, правая рука, Мария Авдеева. У остальных обязанности попроще, но не легче. Одна снимает с полка вагонетки сразу два кирпича и бросает их в руки напарницы, та ловит, кидает следующей садчице. И лишь потом кирпичи попадают в руки Вали и Маши. Два кирпича весят ровно девять килограммов. За смену через руки девушек пройдет тридцать тонн груза!

Посадить кирпич-сырец для обжига — очень хитроумное дело. Требуется высокая квалификация, чтобы выложить «решетку», «елочку», «колодцы» и другие элементы садки. По существу в полости гофманской кольцевой печи, внутри очень похожей на тоннель метро, строится (только без раствора) другая печь. Эту печь топят до красного каления, потом медленно остужают и вынимают из тоннеля готовый кирпич, красный, звонкий. Так что садчицы — те же печники. Если при кладке обычной печи хоть чуть-чуть нарушить конструкцию, печь станет дымить; так и при садке сырца под обжиг: любое нарушение сложной кладки приведет к браку: недожогу или пережогу, что одинаково плохо.

Помню, до войны мастера, вызванные из Москвы, обучали наших парней садке около года. Десятки тысяч кирпичей вывозили на свалку. Но эти девчата и женщины, пришедшие сюда, на печь, в трагические первые недели войны, потратили на освоение этой мужской профессии считанные дни!.. Журналисты писали тогда в газетах: «Мужская работа легла на хрупкие женские плечи.. Нежные руки женщин не боялись никакой работы». О тех же женщинах — землекопах в карьере в газете городской поместили очерк под заголовком «Богатырская сила». Так один автор нажимал на хрупкость и нежность, другой преувеличивал мощь женщины, наделяя ее борцовской силой.

Нет, не хрупкие плечи у этих девчат-садчиц, с которыми я только что катил вагонетку. Но и не богатырши они, нет. Они — обыкновенные русские девушки и женщины, чувашки, мордовки, татарки, удмуртки... Целый интернационал в печи! А статья у всех русская, советская статья и дух. Неистребимый дух вольности, непокорности, свободолюбия. Эти гражданские качества характера, эти высокие качества и надежды на преодоление врага, на победу передаются от них воинам-мужчинам, воодушевляют их на подвиги. Да разве только воинам? Тем мужчинам, которые остались по настоятельной необходимости в тылу. Разве могут они работать не с утроенной энергией, глядя на самоотверженный труд своих подруг?

Такие мысли одолевали меня, пока я шел вдоль печи, ища камеру, где колонисты должны были убирать золу и половняк. Я был выведен из задумчивости звонким возгласом:

— Эй, поберегись!

Вовремя отпрянул в сторону. Мимо прокатила тачку с кирпичом Нина Тимофеева. На тачке побольше десяти пудов груза. Сколько раз я вижу эту поистине хрупкую на вид девушку и удивляюсь ее ловкости, выносливости. Катить на одноколесной тачке три десятка кирпичей не каждый мужчина сможет. Работать каталом шли неохотно, а взявшихся идти на выгрузку, считали чуть ли не чемпионами. Шла война, и постепенно уходили на фронт катали-чемпионы. Дольше других продержался Георгий Данкин, широкогрудый бородатый увалень. И не на фронт ушел безотказный работник Данкин, он скоропостижно умер от бурного легочного процесса. Туберкулезом в годы войны болели многие, и почему-то особенно часто крупные мужики. Наверно те нормы, которых хватало людям помельче, не могли поддерживать огонь жизни в мощных телах. Такие мужчины на глазах худели, на них, как на вешалке, страшно болталась ставшая просторной одежда, ноги-палки чуть не теряли сапоги, ставшие не по мерке... Особенно убогими и обреченными казались такие мужчины из колонистов. Лишенные нравственной поддержки семьи, они быстро падали духом, опускались, они слонялись по помойкам, съедая все, что можно хотя отдаленно назвать пищей. Они ходили между столами в столовой, жалобно повторяя: «Жижуха можно допить?». Они допивали лишнюю каких-нибудь калорий жижуху супа, из которой уже выловлены все ржаные клецки.

И пришло время, когда на выгрузку кирпича из гофманки встали женщины. И первой заняла место умершего мужа сорокалетняя крепкокостная женщина — Елена Данкина. Второй была Нина Тимофеева. Данкина тогда сказала, оглядев оценивающим взглядом миловидную Нину:

— Невеста из тебя хороша, слов нет, а для каталя ты, девка, жидковата, не заматерела ты для такой лошадиной работы. Тебе бы побережись. Смотри, девка, замуж не возьмут мужики, когда с войны вернутся.

На эти слова в ответ комсомолка Тимофеева только беззаботно скалила жемчужные зубки. И хотя грузила поменьше на тачку, но за счет скорости хода успевала за смену вывезти кирпича не меньше Данкиной.

А Данкина была ох, как права! Побережь бы всех этих женщин и девчат, молодых солдатских вдов, обережь от многопудовых тачек, от ежедневных десятков тонн сырого и обожженного кирпича, от этих, не желающих катиться по рельсам вагонеток, от этих мрачных и сырых подземелий — глиняных карьеров, от копки вязкой как резина почвы, не поддающейся острию лопаты...

Мои колонисты грузили совковыми лопатами щебень и золу в кузовную вагонетку, чтобы потом отвезти мусор на свалку. Двое мужчин сидели, курили сигарки. Увидев меня, торопливо затушили «бычки», спрятали в карманы (потом докурим), стали бросать щебенку и половняк в кузов вагонетки.

— Вот, пятую уже... — указывая на вагонетку, пояснил Лютиков,

принимая на себя роль старшего. — Две камеры уже очистили. Можно садить кирпич. Пылища! Как только тут девки робят!

— Поставлены, вот и робят, — угрюмо сказал один из колонистов.

Я гляжу на мужиков, все они не стары, просто изголодавшиеся, ослабевшие физически и морально. Но мужики все же. И ведь в таком качестве, как сегодня, покрепче Нины Тимофеевой, чьей-то невесты... Я говорю:

— Лютиков, как ты думаешь: возить на тачке — девичье ли, женское дело?

— Что тут говорить! — махнул рукой Лютиков. — Знамо дело — не ихнее.

— Ну, а почему бы вам, мужикам, не взяться за выгрузку?

— Почему... Да слабые мы, отоцали совсем. Что едим? Смех один. Откуда силе взяться, — зажалобился Лютиков, смекнув, к чему я веду речь: «Жалеешь баб, становись сам». А становиться на такую работу — ноги вполне свободно протянуть можно в этой адовой печке. А еще семью посмотреть охота. Вон и война идет к концу, на германской земле бои...

Я не отставал.

— Что, по-твоему, Лютиков, для мужика страшнее: работа или голод?

— Знамо дело — голод. При хороших харчах никакая работа не собьет мужика с ног. Это уж точно!

— Ну а если мы для каталей организуем особое питание, усиленное, пошел бы ты каталем?

— А что? — загорелся Лютиков. — Пошел бы. Да как вы [организуете? Нормы — не ваша власть.

— Ну, это — наша забота.

— Пошел бы и я, — вмешался угрюмый мужик.

— Вот видишь, и Воронов не против. Может и другие наймутся? Оно бы побольше каталей, половчее дело бы пошло. Сменяться можно, если кто, допустим, поустал, передышку попросил, — развивал теперь Лютиков захватившую его мысль.

— Так завтра вернемся к этому вопросу? — заключаю я обрадовавшую меня неожиданную беседу.

Колонисты согласились. Во всяком случае с двоими можно было вести переговоры, заключать соглашение. Трое их товарищей отмалчивались, не выразив ни одобрения идеи, ни отказа. Словом, поступили с укоренившейся в сознании людей подневольных осторожностью, неопределенностью.

Возвращаясь с печи, я решил, что стоит заглянуть, как идут дела у садчиц. Потом можно было уже не приходить сюда сегодня. К моему удивлению я не увидел ожидаемой картины: мелькающих из рук в руки кирпичей, не услышал поощрительных возгласов бригадирши Вали. Садчицы окружили плачущую Полю Бурдаеву. Она держала в руках листок

бумаги, и то подносила его к глазам и прерывающимся голосом читала какие-то строки, то прижимала бумагу к груди и тихо всхлипывала.

— Почти четыре года лежало... а я и не знала, — сокрушалась она.

— Что дальше-то пишет? — нетерпеливо спрашивала Мария Авдеева.

«Как приеду на Украину, так сразу вызову тебя к себе...» — запинаясь от волнения, читала Поля.

— А с фронта писал тебе? — спросила Валя.

— Нет, не было писем... — утирала слезы Поля.

— Ну, чего ж ты плачешь? Может жив останется твой жених. Чего раньше времени реветь, оплакивать. Нехорошо это, — назидательно, по-матерински, поучала Дроздова. Она свое отплакала, получив еще в самом начале войны похоронку.

Я попытался установить причину волнующей беседы садчиц. Бурдаева подала мне письмо, написанное на тетрадном листке в разворот. Подпись под письмом: Владимир Гончарук. Знал я этого парня. Он перед войной дослуживал в строительном батальоне и, как многие бойцы, работал на кирпичном заводе. Спокойный такой, в работе безотказный. Токарное дело знал, поэтому-то я, в то время мастер механической мастерской, переманил его из бригады разнорабочих в мастерскую. До сих пор вспоминают веселого красноармейца Гончарука, его золотые руки. Я держу в руках его письмо, не решаюсь читать. Меня покорило, когда я увидел с обратной стороны явственный отпечаток подошвы резинового сапога. Наступить на такое письмо, написанное кровью сердца!..

— Как оно попало к тебе? Сегодня получила? — недоумевал я, никак не мог сообразить, где оно, судя по дате, так долго плутало. Ведь в нем идет речь еще о довоенном времени.

— Вот в этой куче нашли, — вмешалась Авдеева, показывая на грудку бумаг, сваленных возле стены камеры. — На оклейку привезли со склада трестовского.

— А письмо как тут очутилось?

— Тут много писем. Книги есть, конспекты, учебники разные. Сам посмотри, — пояснила Авдеева.

Я покопался в куче бумаг, и верно: попадались книги, тетради с конспектами, дневники бойцов и офицеров, старые карты, фотографии родных, близких, невест... И много писем, присланных со всех уголков страны бойцам строительного корпуса.

Чтобы гофманская печь работала нормально, каждую камеру, после садки, от пода до свода перекрывают бумажной перегородкой. Эта тонкая стенка бумажная исправно держит воздух, создает нужную в печи тягу. А когда огонь приблизится к ней вплотную, стенка мгновенно сгорает, теперь роль надежной заслонки будет выполнять бумажная перегородка, поставленная в следующей камере, перед движением огня. В военное время мы все больше испытываем нехватку бумаги. Шли в ход газеты, ненужные

архивы. Наш начальник снабжения, большой хитрец и комбинатор, Ситников, разнюхал, что имеются какие-то ненужные бумаги на складе, расположенном по соседству с заводом.

— Я там все утряс, обговорил, в тресте добро получил, — докладывал мне Ситников. — Возьмем бумагу. Теперь ты сам, Гена, лицо, так сказать, руководящее, побывай сам на складе. Личный контакт — великое дело! Складом по совместительству командует некий Тополев. Знаешь его? Ну и отлично, свяжись с ним и считай — бумага у тебя есть. На месяц хватит, я прикинул. А там найдем еще!..

Тополев встретил меня недружелюбно, вел себя надменно. Он смешно надувал густо помеченные оспяными щербинками щеки, задира л подбородок, видимо, подражая какому-то руководящему лицу. Коротконогий, в лохматой медвежьей дошке, он казался почти квадратным.

— Архив какой-то имеется, но мне сейчас некогда. Я спешу на совещание к самому Барскому, — важничая, назвал он фамилию управляющего трестом. — Разрешение на архив имеется?

Я подал нужную бумагу.

— Иванов! — подозвал он старика-конюха. — Сведи его, покажи, где брать бумаги. Там, под навесом...

Старик повел меня во двор конного парка — просторную площадку, застроенную по периметру конюшнями и навесами, складами с пудовыми замками на крепких воротах. Под одним из навесов высилась гора бумаг, занимавшая часть помещения. Другая часть завалена чемоданами, сундуками, баулами, изготовленными из кожи, досок, фанеры и еще каких-то неизвестного мне происхождения материалов. Все эти сундуки, чемоданы, баулы, корзины небрежно, по-воровски, вскрыты безжалостной и корыстной рукой. Слово взломщик спешил и оглядывался: а не засекут ли его, ненароком... Видны поломанные замки, сорванные с петель крышки... Чем-то горестным веяло от этого буйства потрошителя чемоданов и сундуков, недозволенным, заведомо преступным. И я невольно проговорил:

— Словно воры поработали тут.

— Это ты в точку попал: воры и есть, — согласился конюх. — В этом, во всем, солдаты вещички свои держали, и шило-мыло, и покупное для дома. В любом чемодане или сундучке лежали подарки для матери и отца, братьям там, сестрам и невестам... Отрезы на костюм, на платьишко, а то и готовый костюм, платочек какой, брошка, свитерок, туфли «джимми». Мало ли что там лежало. Ребята-то, которые служили в Комсомольске в стройбате, все зарабатывали хорошо. Водились деньжата у парней. К демобилизации уже готовились. А тут — война. Ушли все в одночасье на фронт, да под самую матушку-Москву. Столицу-то, дальневосточники заслонили. Вещи-то, знамо дело, остались в казармах, не до вещей, когда враг на страну прет.

Я стал понимать происхождение этих поломанных чемоданов, боялся подумать, что вижу наглое беззаконие. Нет, тут что-то не так! Перебиваю старика:

— Ты говоришь: воры. Ты кого подозреваешь?

Конюх усмехнулся, с хитрецей посмотрел на меня, словно размышляя: стоит ли со мной откровенничать, и сказал:

— Никого я не подозреваю. Чего подозревать? Воры есть, только законные вроде...

Мне стало смешно. Я вспомнил, как до войны на заводе работал слесарем бывший уголовник. Он не без гордости называл себя «я вор в законе». И добавлял: «Перековавшийся, прошу учесть!»

— А ты не смейся, парень, — продолжал старик. — Я тебе сейчас все поясню.

Год миновал войне, стали крысы хозяйничать в солдатских вещичках. Беды большой от них не было, но сам крысиный разбой приглянулся кое-кому... Стали заглядывать в склад, которые из начальства ОРСа треста, (*ОРС – отдел рабочего снабжения*) и крысам помогать. Актик составят, баульчик распотрошат, али там чемодан, кто отрезик унесет домой, списанный, крысами «съеденный», го полуботинки, ситчик ли там, другая вещь какая. Я-то все примечал. После мелких и поглавнее начальники стали сюда похаживать. Шерудили они крепко, скажу тебе, надеялись: война все спишет! Но последнее время вроде стали побаиваться. Могут ведь и солдаты некоторые возвратиться за вещичками, а что им скажешь? Тогда и засуетилась бражка эта: «В складе крыс развелось несметно. Они могут и чуму подбросить нашему городу. Что тогда?! Подумать жутко». Бражка к начальству. Начальство, недолго думая, отдает приказ: все вещи солдатские ввиду полной негодности и угрозы заражения сжечь в присутствии полномочной комиссии. В комиссию вошли все те, кто чемоданы раскурочивал, и Тополев наш. Кое-что пожгли, но все, что было ценного, меж собой поделили. Ты сходи на толкучку. До сих пор отрезки продают спекулянты. Солдатские отрезки. Атак вроде все сожгли. И акты есть, чин по чину, не придерешься, законные воры.

Старик помрачнел, закурил махорочную сигарку, угостил меня самосадам. «Свой. Я его с донником...» После некоторой паузы, заговорил снова:

— У меня сын тоже в первый же день войны ушел на фронт. Тоже под Москвой стоял и врага в Москву не пустил. Два танка подбил. Умер в госпитале. Это уже после Сталинграда. Умер сын... В Комсомольске он действительную служил, в стройбате. А мы — тамбовские сами. Я по его вызову сюда вот приехал, в Комсомольск. Здесь сын собирался жить и нас с матерью вызвал к себе. Вот тут и оказались, на краю света, на старости-то лет. А сын-то там, возле Волги лежит... Туда бы надо нам, если, конечно, доживем. Эх-ма!

Я слушал старика и мне было стыдно. Мне было стыдно, что я, ровесник его сына, стою здесь с ним, в далеком тылу. Мне стыдно, что я ничего не могу сделать, чтобы сохранить остатки вещей солдат — сверстников и соратников его сына, где-то воюющих сейчас на земле врага или спящих вечным сном на полях сражений. Вещи, вещи... А вот письма родных, а их фотографии?.. Вон они рассыпаны на снегу...

— Но это же мародерство! — возмутился я. — А вы не пытались их остановить?

— Пытался, молодой человек, — печально усмехнулся в бороду старик. — Наш шорник, партиец он, жалобу в трест написал. Так Тополев его вскоре вызвал, сунул ему под нос его жалобу и сказал: «Ты на кого пишешь, гад! Да я тебя в порошок сотру, подкулачника недострелянного».

— Ну и стер?

— Настоял, чтобы шорника на лесозаготовки направили в Хорский леспромхоз. «Пусть, говорит, там правду ищет, в тайге-то, у мишки косолапого». И ржет паршивец!

Всю эту неприятную историю на конном парке припомнил я сегодня, увидев плачущую девушку. Я глянул еще раз в конец письма и прочел: «Уезжаю в тревоге на фронт. Не мог тебя увидеть, Поля. Вот и пишу. Уезжаю ненадолго. Все говорят: война быстро закончится разгромом врага. Приеду, а то вызову к себе на родину, поженимся У нас хорошо... на Украине, сады...»

Жалко было эту девушку, получившую от жениха письмо с таким запозданием и таким необычным путем. И я явственно видел вороватые руки мародеров, вожделенно шарящих во вскрытом «фомкой» сундучке. Они равнодушно выгребали на землю письма, фотографии, цепко хватаясь за свертки тканей, праздничную одежду и обувь. Ухватить бы за руку вора в тот момент, да не так прост вор, хитер и бессовестен.

После полуночи жизнь на заводе почти замирает. Уходят домой формовщики и садчики, уходят из карьеров глинокопы, возчики дров и шамота. Остаются по несколько человек: по одному на обжиге, на сушке, где день и ночь работают мощные вентиляторы. Остаются истопники печей в карьере, калориферной, в котельной. Остаются немногие старики — стражи порядка и пожарной охраны. В эти часы и я, дежурный, могу заснуть часок-другой чутким сном возле телефона, готовый вскочить и бежать туда, где срочно понадобится. О моем месторасположении знают все остающиеся бодрствовать до рассвета.

Я стал пристраиваться на жестком диване, намереваясь вздремнуть, как в дверь постучали. Не ожидая ответа, в кабинет мой ворвалась мотористка водокачки Лена Силкина. От волнения или бега она заговорила не сразу, успокаивая дыхания. Лицо ее исказилось, слезы побежали по щекам. Мало мне сегодня слез Бурдаевой.

— Что с тобой, ты сядь, на, выпей водички, — подаю я девушке стакан с

водой.

— Бо-о-юсь!.. — наконец, выговорила она.

— Кого?

— Заключенных... Вчера женщины говорили: сбежали трое зеков из Амурлага. На поселке дом обокрали. Здесь где-то скрываются... Уголовники все... Сейчас сижу в водокачке, мотор выключила, тихо, слышу шаги за стенкой будки, голоса мужские. Я выскочила, и сюда, к вам в контору... Дверь там не заперта, печь топится...

— Но ведь в ночную Дунаев должен дежурить? — спрашиваю. Дунаев — лет пятидесяти мужчина, хромым еще с гражданской войны, был за главного на водокачке.

— Заболел он. Жена вечером прибежала, с животом у него что-то. Соевых котлет наелся, несвежих, живот схватило, — торопливо докладывала Силкина.

Надо идти на водокачку. Завод может остаться без воды. Беру на всякий случай железный ломик, оставленный в конторе каким-то рыбаком. Не скажу, что я хладнокровно выслушал вполне правдоподобную версию Силкиной. Были случаи, убегали уголовники, и даже убивали людей и грабили. Всякое случалось. Ту же бедную Нину Болотину убили бывшие рецидивисты. Силкина с такой верой в мое рыцарство смотрит на меня, что это придает мне смелости. Придает мне смелости и то обстоятельство, которое я только начинаю смутно постигать, что я — человек на ответственном посту. Стало быть, и бояться не положено мне, а если и шевельнется в душе страх, то надежно скрывать его от людей, верящих в тебя, твою храбрость, как эта девчушка в замурзанном ватнике, в разношенных, подшитых валенках, замасленных и обожженных возле печки выпадающими из топки угольками.

Хорошо хоть луна выкатилась из-за горизонта, белая и круглая, как блин. С высокого речного берега отчетливо видна избушка водокачки, притулившаяся у самой кромки воды. В окошках — яркий свет, он лучится из полуоткрытой двери, забытой впопыхах испуганной мотористкой. Мы постояли на берегу, прислушались. Ни звука, ни тени. Иду впереди с ломиком (может, притаились в будке или за ее стеной), сзади крадется трепещущая, как лань, Силкина. Пусто в будке, никого за стеной. Мы оба с облегчением переводим дух, смелеем, виновато улыбаемся друг другу.

Силкина подбрасывает в печку дров, заготовленных хозяйственным Дунаевым, потом включаем мотор. Мерно дрожит насосная установка, амурская вода зажурчала по трубе, пошла в деревянный чан водонапорной башни, возвышающейся на берегу. Мы следим, чтобы не перекачивать чан больше двух третей его емкости. Башня еще осенью наклонилась в сторону, подгнили, видать, бревна-стойки, и похожа она стала, по определению начитанного Бабушкина, на знаменитую Пизанскую падающую башню. Подгнившие стойки мы закрепили бревнами, но все же опасались, что

башня, если ее наполнить доверху водой, может опрокинуться. А об этом страшно было и подумать.

Под мерное жужжание мотора и насоса мы перебрасываемся фразами, относящимися к технической стороне дела:

— Мотор греется, — говорит Силкина.

— Надо сверить точность установки. Может, мотор сбился с крепления, — я.

— Всасывающий клапан западает, — она.

— Скажи Дунаеву, он подправит, — я.

Мне надо выйти из водонасосной. Я поднимаюсь с лавки. Вскакивает и Силкина, глядит на меня широко открытыми темными глазами, в них снова оживает панический страх. Шепчет:

— Куда? И я с тобой, не могу одна, — она судорожно хватает меня за рукав.

— Не уйду я, чудачка, выйти мне надо... — успокаиваю, хотя и верно: решив, что девушка успокоилась, хотел уйти в контору. Пришлось передумать. Постоял на улице, вернулся.

— Не знаю, что со мной, — задумчиво глядя в огонь печки, говорит Силкина. — Никогда так не трусила, как сегодня. Как представляю, что к водонасосной крадутся дальлаговцы, обмираю, руки-ноги отнимаются. Ты посиди со мной, Гена, посиди, пожалуйста. У меня соевые котлеты есть. Хочешь? У меня свежие, — поняв по-своему мое молчание, заверила девушка, доставая из тумбочки завернутые в газету котлетки. Мы жуем их рассыпчатую мякоть. На печке закипает чайник. Мы прихлебываем из жестяных кружек кипятков, заваренный прутиками сухого китайского лимонника.

Страх оставил девушку. Она с печалью рассказывает мне о своей жизни. А жизнь ее нелегкая. Да и у кого она сегодня легкая! Всех затронула черным недобрым крылом война, разметала людей по великой стране. Силкина, дочь учителя, сама хотела стать учительницей русского языка и литературы. Год училась в Ленинградском университете. Война застала ее в дороге домой, в Комсомольск, к больному отцу. Здесь и осталась. А поскольку жила вместе с отцом на поселке кирпичного завода, пришла сюда работать. Вот уже четвертый год она мотористка.

Четыре года вместе трудимся, а вот так, откровенно, Силкина рассказывает о себе впервые. Обычно она очень замкнута, и о ее жизни с больным, почти недвижимым отцом, никто толком не знает ничего. И держится Силкина особняком. Потому наверно ей и труднее живется, чем другим, делящим все пополам: и слезы, и малые радости.

— Не забыла свою филологию? — спрашиваю.

— Представь, не забыла! Все-все помню, правила, все прочитанное, — оживилась девушка. — Читаю много. Вот, — подала мне «Войну и мир» Толстого, — перечитываю. Какая прелесть!

Я раскрыл книгу, заложенную щепочкой. Глава посвящена первому балу Наташи Ростовой.

— Читал? — смотрит вопросительно Силкина.

— Читал. Великая книга.

— Правда! Я уже второй раз ее перечитываю. Многое здесь созвучно нашему времени, верно?

— А первый бал... — голос Силкиной мечтательный. — Прямо все видишь: блестящий зал, нарядных людей, Наташу в ее необыкновенном платье, князя Андрея... Я иногда перечитываю это место в романе и забываю про все: водокачку, свой засаленный ватник, валенки с отцовской ноги... Я вспоминаю очень похожий бал в июне сорок первого года в Ленинграде. Ты знаешь белые ночи? Знаешь. Прелесть! Музыка. Вся жизнь впереди. Жизнь счастливая. Я танцевала в тот вечер много, и платье на мне было белое, белые туфли. И танцевал со мной... Ну не князь, но не хуже князя. Он был летчик, только что получивший звание лейтенанта. Молодой, красивый, умный... Он меня любил, очень любил, я это чувствовала сердцем...

—И сейчас любит, — подсказал я.

— Он пропал без вести, под Новгородом, в первые дни войны. Об этом мне написали его товарищи, — с грустью говорила Силкина. — Мне вот уже двадцать два года, я почти старуха. Никто меня не ждет, никому я не нужна, — девушка готова снова заплакать. И у меня першит в горле. С братским участием я глажу ее руку, говорю успокоительные разные слова. Я говорю, что она еще и не жила, и что все у нее впереди, и что она, между прочим, комсомолка, а комсомолке вешать нос не к лицу. Верно ведь? Она станет учительницей. Надо в этом же году, не откладывая, поступить в университет, а то лучше в Хабаровский пединститут. И тянуть нечего, надо подавать документы сейчас, готовиться. Ты красивая, молодая, тебя полюбят. И летчик твой может быть жив, на войне всякое бывает. У тебя все будет, Лена Силкина. Ну утри слезы, ну улыбнись, Силкина.

И высыхают слезы на щеках моей юной собеседницы, и уже улыбаются, светлеют ее глаза, и она бессознательным женским движением руки поправляет прическу, косит взгляд на осколок зеркала, прикрепленный к дощатой стене будки.

— Ты считаешь, что надо уже подавать документы? — спрашивает она.

— Не тяни! Война идет к концу, все о том говорит. Нам сейчас многое надо наверстывать, Лена.

На ходиках пять часов. Я покидаю насосную и успокоившуюся ее хозяйку. На дворе уже скрипят полозьями сани, груженные дровами и шамотом. Запела тонким голосом циркулярная пила на лесобирже. Здесь готовят чурки для гофманки. Сон покинул меня. Надо приниматься за дневные дела. Вон Кондратенко идет к конторе. Издали машет приветственно, кричит:

—Зайди ко мне, дело есть!
Иду, шеф, иду, какие сегодня у тебя дела?

ВЫДУМКИ



Авдеева Маша — садчица кирпича в печь

Кондратенко жил в городе, километрах в пяти от завода и заводского поселка, и потому я обычно раньше его появлялся на заводе. Зато он уходил позже меня, часто занятого общественными делами. Особенно после того, как меня избрали секретарем парторганизации. Наш бессменный секретарь за последние годы, Яков Никитович Копейкин, крепко приболел, ослаб, и вынужден был «подать в отставку», как он выразился, подсмеиваясь над своей немощью и страдая душой, что покидает пост заводского комиссара. Но старый коммунист не покидал партийного строя. Он как и прежде вникал во все дела завода, беседовал с людьми, охотно идущими по-прежнему к нему за советом. Копейкин помогал мне найти «правильную линию», нужный тон в общении с народом. И как бы рано я не приходил на завод, всегда заставал Копейкина бодрствующим. Он встречался мне на формовке, на карьере, на печке, на дровяном складе, в будке проходной завода, где он проверял состояние поста. Сегодня он как раз был на проходной. Заметив меня, поманил пальцем из-за стекла постового окошка. Я вошел в жарко натопленную дежурку.

— Кондратенко уже на заводе. У нас, брат, ЧП, — озабоченно сказал Копейкин, пожимая мне руку. — Просил нас с тобой подойти на конный парк.

Дорогой я узнал, что ночью пало сразу две лошадки-монголки. Остались теперь в живых только три коня. Подыхают лошади от плохой кормежки. Овес нужен, а не овсяная солома и лузга, не гнилое сено, жесткое как камыш. А работают лошади много. И часто бежит возчик сзывать народ, чтобы поднять обессилевшего коня, упавшего на дороге. Я понимал драматизм такой потери. Рвутся сразу два технологических потока, это не шутка!

В полутемной конюшне, большой и неуютно для оставшихся трех лошадок (стояло раньше до сорока упитанных битюков), было холодно, пахло остро конским потом, дегтем, карболкой, сыромятной кожей. В двух смежных стойлах лежали павшие лошади, с выпирающими сквозь кожу ребрами, сбитыми холками. У одного конька оскалены желтые зубы, словно конек подсмеивается над людьми и говорит им: «Все, отработал я на вас, отмучился...»

— Одного прирезать успели, — скорбно вздыхая, докладывал старший конюх Николаев. — Другой пал, не заметили. Потрогали, а он уже окоченел. Шкуру снимем.

Странно было смотреть на него, утирающего слезы — жалко лошадок — и хозяйственно помнившего в то же время о пользе, которую может и после своей гибели принести людям конь.

— Мясо надо сдать в столовку, — предложил Кондратенко.

— Нет, лучше на склад, — возразил Копейкин. — Там «усушка» может изрядная получиться. Только на склад. И раздать семейным. Хоть и тощее мясо, но мясо все-таки...

— Три лошади осталось. Мало! — Сумрачно произнес Кондратенко, глядя на меня карими озабоченными глазами. — Що будемо робить, главный? — спросил он меня.

С тех пор, как мы с Кондратенко впряглись в административную телегу, он стал меня называть чаще всего шутливо официально — главный. Восемь лет проработали мы вместе на этом заводе, жили много лет в одном бараке, сколько вечеров провели вместе, мечтая о будущем городе, который строим, о своем будущем. Я уважал Ивана за рассудительность, обстоятельность, незлобливость и высокую порядочность. Сын рабочего Донбасса, потомок запорожского казака, Иван Кондратенко был и сыном того слоя трудового населения Донбасса, которое явилось крепким сплавом русской и украинской наций, русской и украинской культур. И только в сложных ситуациях Кондратенко почему-то вспоминал украинскую мову и произносил тогда любимые свои фразы: «Що будимо робить?» или: «Э, цэ дило треба разжувати». Шутливой тональностью фраз этих он скрывал свою озабоченность, опасения. Он вообще любил шутку, грубую порой, соленую, но всегда уместную и бьющую в цель без промаха.

Один из возчиков, куривший у бочки, ответил на вопрос директора:

— Самим придется впрягаться в сани. Я в прошлом году ездил под Витебск за больной матерью, там видел: бабы пашут на себе. Жуть! Плачут, шатаются из стороны в сторону, а пашут. Надо! Жить-то надо, товарищи дорогие.

— Вот мы и запряжем Николаева, — сердито проговорил Кондратенко. — Не уберег коней, пусть хомут надевает.

Все с улыбкой посмотрели на смутившегося Николаева, тщедушного узкогрудого мужичка, коих в народе зовут мужичок с ноготок.

— На мне далеко не уедешь, — уныло отозвался Николаев, посмотрев на свои ноги в разбитых валенках.

— Да, ты прав, на тебе далеко не уедешь, — согласился Кондратенко. — А ехать, брат, надо. Или встанет завод, а нас вот, с главным, посадят, по законам военного времени. Думаешь нянькаться станут? — вопрос Николаеву, тот испуганно жмурится. — И правильно сделают. Не умеем хозяйничать.

Когда через полчаса мы с Кондратенко сошлись в его кабинете, он, уже без бравады, повторил свои слова об ответственности. Он распорядился пригласить в кабинет всех начальников цехов, мастеров, десятников.

— И Мацафея обязательно! — крикнул вдогонку убегавшей выполнять приказание курьерше Насте.

По озабоченному виду, энергичным движениям рук, этакой внутренней подтянутости, я догадываюсь, что Кондратенко нащупывает выход из труднейшего положения, в какое нас поставила гибель двух коней. Я попытался было узнать, что именно он нащупал. Усмехнулся, сказал:

— Вот соберем наш малый хурал, посоветуемся. Ум — хорошо, а двадцать — лучше, — и рассмеялся, довольный каламбуром.

Участники «малого хурала» заполнили тесноватый кабинетик директора. Каждый устраивался на полубившемся ему издавна месте. Начальник формовочного цеха Алексей Холявин сел в углу, поближе к батарее центрального отопления. Он во все времена года ходит в резиновых сапогах, ноги его большие какой-то застарелой болезнью. Ходит он негнущейся, неуверенной походкой. Лицо худое, безбородое, и на этом унылом лице неожиданно синие веселые глаза. Рядом с Холявиным присел его заместитель Николай Ильин, невысокий, коренастый, с хитрющим взглядом маленьких быстрых глаз. В другом углу вижу Дмитрия Серова, мастера обжига, он беседует с Иваном Кириенко, продолжается, видимо, спор, начатый еще на печи. У самой двери, присев на корточки, покуривает в рукав сигарку начальник ремонтного цеха Иван Абросимов. Он осторожно тушит окурок о порог. Как всегда предпоследним заявляется Курносов, и уже за ним матросской походкой идет Бабушкин. Он любит хоть чуть-чуть подзадержаться, обратить этим на себя внимание, продемонстрировать начальству свою полную от них независимость. «Когда захочу, тогда и приду. А че? Без Лени Бабушкина вы, братцы, мало чего стоите все вместе взятые. Скажете не правда?»

Я смотрю на всех этих людей и испытываю непривычное для меня чувство острого любопытства, желания узнать, что каждый из них думает сейчас, о чем размышляет, как оценивает нас с Кондратенко, доверяет ли нам? Странное дело! Всех этих людей я давно знаю, уже много лет, со многими тесно дружил. А вот поди ты, сегодня они для меня таинственные почти незнакомцы. Почему я так думаю? Это наверно от своего нового административного качества. Раньше отдельные грани их характеров меня

мало интересовали, а сейчас я придаю каждой мелочи особое значение. Что могут эти люди-вожаки? И как они поступают, находясь вне поля зрения моего и Кондратенко. В полную ли силу работают или отбывают время. Где в работе их инициатива, их творчество, а где только желание получить «указание» и взять под козырек: «Бу сделано!». Только исполнители? А чего исполнять? Мы с Кондратенко пока мало даем идей, сами бродим как в потемках, нащупывая правильные (по-нашему мнению) пути выхода из лабиринта проблем, пугающих нас своей сложностью. Никандров инициативных не жаловал. Может потому, что сам весь был переполнен всегда идеями. Правда, не всегда идеи эти приносили пользу, а нередко прямой вред, но идеи были.

Прав ли Кондратенко, перефразировав поговорку: одна голова — хорошо, а двадцать — лучше? Посмотрим, что подскажут нам сегодня эти двадцать голов: стриженных под ноль, лысых, лохматых, посмотрим... Но с беспокойством в душе я предчувствую: не оправдает «малый хурал» наши надежды. Ну чем заменишь лошадей? Хоть и не хочется соглашаться с тем пессимистом-конюхом, ездившим за больной матерью в Россию, но может оказаться он прав.

Кондратенко поднялся во весь свой почти двухметровый рост над столом. Он, как и все здесь собравшиеся, не снимает пальто (в кабинете холодно, да и выходить на мороз скоро...) из светлого драпа в косую черную «елочку», с цигейковым воротником. Пальто у него появилось недавно, а до того он носил ватник. Пальто выдал ему сам управляющий трестом Барский, выбрав подходящее из «американских подарков», присланных в Комсомольск из-за океана. «Носи, негоже директору в ватнике...» Пальто еще до сих пор остается предметом живого внимания кирпичников. После обстоятельного осмотра, да и незаметного для владельца ощупывания, общее мнение о качестве американского пальто высказал плотник Василий Исаевич Рыжкин: «Ткань дерьмовая, мех на воротнике искусственный. Вещь, так сказать, разовая. Относил сезон, бросай, покупай другое пальто. Там, в Америке, так. Конкуренция. Чтобы продать побыстрее и побольше». «Даренному коню в зубы не смотрят, — замечали ему. — И то верно, — соглашался Рыжкин. — И за такое спасибо».

Но мы отвлеклись. Прислушаемся, что говорит директор завода Иван Кондратенко.

— Ночью две лошади пали, — начал Кондратенко. — Три всего остались. Три... — поднял вверх три пальца. — На все про все, как говорится. Что будем делать? Надо посоветоваться.

— Просить новых лошадей, а то автомашину, — поднялся в углу незаметно вошедший Мацафей.

— Просить... — поморщился Кондратенко. — Просили, товарищ Мацафей. Не дают. Ни коней, ни машин. А подвозить уголь и дрова к котельной и калориферной не на чем.

— Товарищи, да мы сегодня же можем остановить сушку! Как же это допустить! — всполошился Ильин, ответственный за калорифер и котельную.

— У меня есть предложение, — поднял руку Холявин. — Я об этом еще два года тому назад говорил Накандрову, но тот оставил без внимания. Нужды крайней не было, а теперь такая нужда есть. Так вот я предлагаю построить эстакаду от гофманской печи до котельной. Всего двадцать метров! Эстакада пройдет и возле калориферной. Мы подаем уголь и дрова на вагонетках на печь. Продлим путь до котельной — и вози топливо!

Все разом загалдели, одобряя проект Холявина. Каждый считал своим долгом внести уточнение в проект, еще раз выразить уважение рационализатору.

— Ну почему бы давно так не сделать, ведь так просто! — хлопал себя по коленям широкими ладонями Курносов.

— Гениальное всегда просто! — вставил Мацафей.

Понравился проект и нам с Кондратенко. Директор, повеселевший, выпрямившийся, как после сброшенной с плеч тяжелой ноши, обратился к Абросимову:

— Иван Анисимович, посылай плотника Лаверова на эстакаду, он быстро все сделает.

Тот с трудом встал с корточек на ноги, прислонился к косяку, покашлял, проговорил угрюмо:

— Не сделает плотник Лаверов.

— Это почему же? — насторожился Кондратенко.

— Умер он сегодня утром, в четыре часа.

— Что с ним? Я его вчера видел, — недоумевал директор.

— Что? Что и у меня — туберкулез. С последней стадией ходил мужик, как и я. Сопrotивлялся, — спокойно пояснил Абросимов.

— Тогда посылай Рыжкина, — предлагал директор.

— Сегодня не могу... — размышлял Абросимов. — И завтра — тоже. Рыжкин у нас гробы делает. Для Лаверова нужен... Ну и для колониста, вчера умер. Сердце...

Наступило молчание. Печальное сообщение Абросимова расстроило присутствующих. И не сразу ими снова овладели суетные мысли о практических своих ежедневных делах.

— А эстакаду сделаем, — продолжал после некоторого раздумья Абросимов. — Я Клепцова поставлю. Он все сделает, как нужно. Сутки, двое будем работать, но эстакада будет. Заводу остановиться не дадим!

Расходились несколько успокоенными. Кондратенко задержал Бабушкина. Мастеровитый Бабушкин всегда что-то конструировал, изобретал, строил разные приспособления, долженствующие, по его мнению, сделать переворот в кирпичном производстве. Некоторые его приспособления и аппараты приносили пользу, другие (их было больше)

выбрасывались на свалку металлолома. Нынешней зимой он был занят сборкой трактора из деталей, привезенных с фронта немецких и наших танков на переплавку на завод Амурсталь. Недавно мы с Кондратенко осмотрели эту чудо-машину. Бабушкин окрашивал ее красной краской. Он хвалил немецкий мотор, снятый с танкетки, обещал через неделю трактор запустить, и тогда все транспортные проблемы будут сняты с повестки дня.

— Мне только два шарикоподшипника требуются. Найдет Ситников — трактор на ходу, — пообещал Бабушкин.

По совету Кондратенко отправляюсь на завод Амурсталь, где работает механиком цеха наш общий знакомый Петр Брудновский. Рослый, красивый, представительный, с приятным бархатистым баритоном, он был удачлив, этот Брудновский, которого все товарищи в шутку называли пан Брудновский. Он еще перед войной ушел с кирпичного завода, где кантовался в механиках, ровным счетом ничего не смысля в машинах. В те времена некомпетентность не считалась большим пороком. Я очень сомневался, что Брудновский, став механиком на строительстве Амурстали, а потом и на самом заводе, за эти годы чему научился. Он всегда имел под рукой безропотных, бескорыстных умельцев, находив их с необыкновенным чутьем. Они давали ему идеи, материализовали их в конкретных вещах. И не обижались на Брудновского, но даже считали, что обязаны ему за его организаторские способности и невероятную пробивную силу. Тут уж пан Брудновский был непревзойденным мастером, стержнем, основой этого мастерства были обаятельная внешность и почти детское бесстыдство. Изгнанный в двери, он тут же влезал в окно...

Брудновский встретил меня радушно, обнял своими могучими ручищами борца, влюблено глядел на меня воловьими глазами, говоря с этакой экзальтацией:

— Генаша, дорогой ты мой! Сколько лет, сколько зим! Рядом живем, а видимся? Ты надолго? Торопишься? А может ко мне домой смотаем, там моя Надья спроворит нам что-нибудь, а? Спиртику, по наперсточку? Нельзя, говоришь? Жаль. Подшипники? Да обожди ты с этими подшипниками, дай поговорить, посмотреть на тебя...

Так он разговаривал со мной, и я, как всегда невольно поддавался его обаянию, его неподдельной радости, какую излучали его глаза. Ну никак не мог я заставить себя не смотреть на него если не умиленно, то по-братски снисходительно (что с него возьмешь!), но не рассудочными глазами человека, не раз обжегшегося на этой обаятельности.

А Брудновский рассказывал мне о своем героическом участии в строительстве Амурстали, о том, как неделями не вылезал из котлованов, «пропадал» в узких ходах воздухоудных трубопроводов мартеновских печей, «выдавал блестящие идеи». И что вместе с другими передовыми строителями он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. И я верил. Да, сидел сутками в обжигающих холодом трубах, бродил по колена

в ледяной воде в котлованах — все было на счету Брудновского. Вместе с тем не было — я в этом уверен — главного — нужности всех его подвигов в общем деле. Этот добродушный и хитрый хитростью прирожденного лентяя человек представлялся мне во всей этой героической эпопее крыловской мухой на роге вола...

Наверно всегда, во все времена будут на свете такие люди, как «пан» Брудновский. Особенно вольготно чувствуют они себя там, где работа человека отодвигается на второй план, на первом же месте в зачет ему идут внешность, умение держаться на людях, коммуникабельность, готовность угодить, польстить, делая все это изящно, необидно, нешокирующе...

Брудновский взялся показать мне завод. С тех пор, когда завод пустили и выдали первую плавку стали, мне не приходилось здесь бывать. И потому все меня восхищало: и феерическое зрелище пуска стали, и мощь прокатных станов, расплющивающих слитки металла также легко, как раскатывает тесто хозяйка, готовясь резать домашнюю лапшу. Я глядел на стены цехов, сложенных из наших кирпичей. Каждый этот красный параллелепипед вынянчан руками наших работниц, голодных, обиженных войной, обожженных ею. Сколько труда, сколько пота и невидимых слез в этих сотнях тысяч, миллионах кирпичей, из которых построен этот первый на Дальнем Востоке металлургический завод. Нет, не зрящий этот женский труд! Это их вклад в победу над врагом.

В прокатном цехе я видел плакат со строчками из стихотворения поэта комсомольчанина Николая Поваренкина: «Сталь в мартенах клочкотала, день и ночь гремел прокат. Наша пуля долетала от Амура до Карпат!» И в клочочущей стали, и в этих красных, медленно остывающих толстых стальных листах — труд наших кирпичниц Даши Перетрухиной, Нины Тимофеевой, Валентины Лохтиной, Поли Илюкиной, Маши Авдеевой, Дуси Шестаковой и многих других работниц.

Мы идем с Брудновским мимо копрового цеха, мимо бесконечной свалки металлолома. В этом хаосе ржавого металлического хлама выделяются зловещими очертаниями корпусов разбитые немецкие танки с крестами. Много «тигров». В боках их страшные рваные пробоины. Все это крошево будет переплавлено в амурсталеvских мартенах и пущено в дело. Может быть уже и не оружие, но тракторы и комбайны будут построены из этого металла, брошенного злой рукой фашизма на поля России.

Я уносил от Брудновского завернутые в лощеную бумагу два новеньких подшипника. Я размышлял дорогой, что хорошо бы привести наших работниц как-то на Амурсталь и показать им во что оформился, овеществился их труд. Да разве один такой завод был построен в нашем таежном городе в годы войны!

А мой личный труд? Зачтется ли он мне, представителю мужской «половины» заводского коллектива? Я беру в кавычки слово половина. Мало мужчин на заводе. Нет и четвертой части. Лишь трое имеют «брони»,

и я не в их числе. Когда началась война, я, секретарь комсомольской организации, пошел в военкомат вместе с несколькими комсомольцами записываться в армию добровольцами. Некоторых взяли, меня нет. Еще до войны, во время призыва, врачи забраковали меня по зрению. Минус девять... Выдали «белый» билет, сняли с воинского учета. Получить обидное прозвище «белобилетник» в те годы всеобщего уважения к Красной Армии было верхом несчастья. Даже у близких друзей это вызывало унижающее вас удивление и, доводящее вас до бешенства, сердобольное сочувствие. Ну ребята куда ни шло, а девушки? Вчера были свои «в доску» девчата, товарищи, и — что греха таить — потенциальные твои невесты, а сегодня ты читаешь в их глазах осторожность и недоверие, иногда чуть окрашенное брезгливостью, какую всегда испытывает здоровый человек к больному, особенно человек молодой, не умеющий оценивать людей за истинные, а не внешние, порой обманчивые, достоинства.

Выбрал свободную минуту и (уже в который раз!) забежал посмотреть, как строят эстакаду. Здесь трудились плотники Василий Рыжкин и Прохор Бурдаев, старик лет за шестьдесят. Они укладывали на высоких козлах настил из толстых плах. Подавали плахи подсобники колонисты. Задрав голову, стоял под козлами Абросимов. Его желтое нездоровое лицо морщилось, он покрикивал Рыжкину:

— Василий Исаич, левее клади. Не так! Левее еще. Бурдаев, ну куда ты подваживаешь! Иди к Исаичу. — И мне: — Сегодня настил закончим, завтра можно рельсы класть и — катать уголек!

Абросимов довольно улыбнулся, ощерив прокуренные зубы. Он зашелся в изнурительном кашле, содрагаясь, синея от удушья. Он отвернулся от меня и сплюнул. На девственно белом снегу заалело кровавое пятно. «Плохи твои дела, Иван Анисимович», — подумал я, жалея мужика. Я помню, еще два года назад, этот сорокалетний мужчина, красивый, черноволосый здоровяк, отец шестерых детей и муж красивой еще молодой женщины, был полон сил и несокрушимого здоровья. Случилась авария на водонапорной башне: прохудился деревянный бак и вода грозила подмыть основание башни. Дело происходило в конце ноября, стояли крепкие морозы, и вода в баке ледяная. Никто не решался войти в эту воду, чтобы заделать пробойну. Тогда Абросимов опустил в эту купель по пояс и заделал отверстие, и тем спас башню от разрушения, а завод от долгого простоя. Но сам жестоко простудился. Не помогли водка с солью и перцем, лошадиные дозы всеизлечивающего аспирина, горчичники, парная банька. Абросимов с трудом (некогда болеть, работа ждет) через неделю поднялся с постели, стал работать. И с той поры стал чахнуть, таять на глазах, вызывая всеобщее сочувствие. Чахотка быстро прогрессировала. Только мужество этого человека, неиссякаемый его оптимизм, позволяли ему не свалиться на больничную койку, а работать, и

много работать. Вот и сегодня, уже скоро сумерки, метет поземка, и лучше бы Абросимову сидеть в теплой конторке, а он стоит здесь на открытом ветру, заставляющего слезиться глаза, и присутствием своим подбадривает изнемогающих от усталости этих двух старых людей. Знает: уйди он, бросят укладывать плахи плотники, вот уже двенадцать часов не разгибающие спины на строительстве эстакады. А она позарез нужна, эстакада. К котельной и калориферу сегодня подвозили уголь и метровые дрова на себе. Люди впрягались в сани и возили топливо. Только один рейс сделал на полutorке Саша Клименко. А сегодня полutorка, словно норовистый конь, никак не хотела заводиться и работать на газе от березовых чурок. Клименко грешил на чурки, что сырые они...

— Ты иди, Геннадий, — говорит Абросимов. — Сейчас мои закончат. Я побуду. Тебя сейчас Кириенко искал. Шагай к нему под печь. Ты не сомневайся, иди...

В полумраке, вечно царящем под шатром гофманки, глаза сразу видят плохо после белоснежья улицы. Когда же глаз чуть приобвык, я с изумлением рассмотрел впереди себя, шагах в двадцати, медленно катившуюся от меня шебебюню с вагонеткой, груженной сырцом. Рядом шла бригадирша Валя Лохтина, даже не прикасаясь к вагонетке рукой. «Как сани у Емели, «по щучьему велению...», — мелькнула мысль. Не сразу сообразил, что это действует лебедка, установленная Иваном Кириенко. Я догнал вагонетку, пошел рядом с Валей.

— Здорово тащит! — заметил я с восхищением.

— Вот! — радостно отозвалась бригадирша.

У камеры, где шла садка кирпича, вагонетка остановилась. Здесь ее ждали садчицы. Они громко и оживленно обменивались мнениями по поводу изобретательства слесаря Кириенко.

— Голова у мужика варит!

— Ты гляди, сама катится? Я как увидела, обмерла вся: сплю, что ли?!

А Поля Бурдаева плакала, утирая слезы.

— Чего реवेशь, радоваться надо, — подтолкнула ее локтем Маша Авдеева.

— Я и радуюсь.

— А плачешь?

— А плачу, что мы, подружки, почти всю войну толкали эти проклятушки вагонетки, на плечах мозоли — потрогай, — оголила Поля плечо. — Жалко вас, жалко себя. Ведь раньше нужно было вагонетки лебедкой тягать...

Слова молодой работницы бросили меня в жар. Мне стало стыдно и за свое бездействие, стыдно за всех мужчин, работающих на заводе. Как могли мы несколько лет терпеть непосильную работу девушек и женщин и не придумать такой простой вещи, какую осуществил фронтовик Иван Кириенко. Никакие оправдания не снимут с нас ответственности за такое

пренебрежение к здоровью наших женщин. Правда, помню, я предлагал Никандрову установить лебедку, и не одну. Дал расчеты. Но тот досадливо отмахнулся, сказав: «После войны станем рационализацией заниматься. Сейчас нужно четко придерживаться освоенной технологии, освоенных приемов. Этого требуют интересы страны». Мне показались эти слова вескими и вполне убедительными.

А как чествовали садчицы Ивана Кириенко. Они зацеловали его, со смехом отбивающегося от цепких женских рук. А потом еще принялись качать, подбрасывая стонущего Ивана под самый шатер печи.

— Девоньки, милые, отпустите душу на покаяние! — просил ошарашенный радостью работник. Поставленный, наконец, бережно на ноги, Кириенко, переводя дух, продолжал: — Меня так немцы не мяли, когда им попался в окопе. Ну, девки, совсем уморили фронтовика!

Кириенко показывал мне лебедку, систему сигнализации, развивал планы по части механизации транспортировки угля, выгрузки готового кирпича из печи.

— Молодец, правы девушки: варит у тебя голова, — по-товарищески хвалю Кириенко.

— Так ведь голь на выдумки хитра, как говорят в народе, — посмеивался довольный успехом фронтовик.

По дороге домой размышлял о всем случившемся вчера и сегодня и недоумевал: почему нам, русским, всегда нужны какие-то особые обстоятельства, драматические ситуации, чтобы сразу же почти проявить поразительную изобретательность, до сих пор дремавшую в нас. И эстакаду, и лебедочную тягу, и примитивнейший противовес к воротам карьера, чтобы сами закрывались, без специального привратника... Все это давно можно было иметь.

Выдумщик. Это человек, доходящий своим разумом до решения вставшей перед ним проблемы. Я припоминал многих таких выдумщиков-умельцев, встречавшихся на моем пути. Я храню о них благодарную память, научивших меня «шевелить мозгами». Это было любимое изречение неистощимого изобретателя техника Володи Сибирского, занимавшегося до войны конструированием пресса сухого прессования кирпича, сулившего переворот в кирпичном производстве. Его идею отверг главный инженер треста, сказавший: «Умнее немцев хочешь быть? Никто в мире не превзошел их пока в керамическом производстве. Запомни это, молодой человек!»

Я многому научился у старого слесаря Николая Маркеловича Колпоносова, любое дело делавший только по-своему, только лучше, быстрее. Он обучал так работать каждого, стоявшего рядом с ним. Он искренне радовался, когда видел, что возбудил у молодого человека тягу к мастерству, ту искру божью высек, каковая отличает простого исполнителя, подражателя от творца, мастера с большой буквы.

Припомнил привычку Колпоносова в минуты размышления держать в руках гармошку стального складного метра, растягивая и складывая его. Такой стальной метр-складень я видел только что в руках Кириенко. А у эстакады играл складным деревянным метром Абросимов. И тут всплыла в воображении почему-то плачущая Поля Бурдаева с пожелтевшим письмом жениха, сгнувшего в огненном пекле Великой Войны... Что общего между этими картинами? Есть что-то общее... Я стараюсь заснуть, не могу. Как на киноэкране возникают изображения складеня-метра, плачущего девичьего лица, кровавого пятна на белом снегу у эстакады, и желтого, как новорожденный цыпленок, деревянного метра... Так и заснул, не решив психологической задачи...

А утром пришла разгадка! Складень-метр заменит письмо, спасет все другие письма, рукописи, книги от сожжения. Складень-метр решит почти неразрешимую проблему обеспечения гофманской печи бумажными щитами. Бумага почти не потребуется, если догадка моя подтвердится. Лихорадочно заносу свои соображения на бумагу, рисую эскиз деревянной складной перегородки, и бегу в конторку Абросимова. Мне нужны его совет и помощь.

Абросимова застал изнемогающего от утреннего кашля. Он отплеивается в жестяную плевательницу, махая мне рукой на стул «садись».

Я показал ему свои эскизы, объяснил суть придумки. Для наглядности взял со стола его желтый складень-метр. Если вместо заклепок, скрепляющих части складеня поставить цепочки, то...

— То получится ладная штука! — подхватил Абросимов. — Ставим стойки с пазами...

— В пазы вставляем рейки со скреплением, как у метра-складеня, концами... — продолжаю мысль.

— ...Как только огонь подойдет в садке к деревянной этой стенке, заменяющей бумажную... — весело ведет нить общей мысли Абросимов.

— ...То мы через топочную конфорку сверху вытаскиваем все рейки из печи, не дав им сгореть.

— А стойки пусть горят. Мы их будем делать из горбыля, — заключил Абросимов.

Через неделю такие деревянные разборные щиты были изготовлены Рыжкиным. И все с того момента позабыли о бумажном дефиците. Деревянная перегородка действовала безотказно, даже лучше бумажной. И хотя новый щит придумал я, его все прозвали абросимовским. Но я не был в обиде. Ведь и Америку открыл Колумб, а имя континенту дал автор книжки об этом континенте...

НА АМУР!



Никитина Христина – садчица кирпича

В самом начале дневной смены всюду на заводе погас свет. Все погрузилось в полумрак. Замерли машины, угарным дымком потянуло из-за неплотно закрытых дверей сушильных камер. Такие отключения электроэнергии часты. Не успевает наша городская ТЭЦ питать все заводы и город энергией, страдая от аварий, недостатка угля. И если энергетики скоро не обещают включить нашу линию, тогда, по установившейся с начала войны традиции, по цехам разносится клич, от которого у каждого работника завода, независимо от ранга, холодок неприятный в груди:

— На Амур!

Люди выходили из сравнительно теплых и защищенных от ветра помещений, из погребной сырости карьера на улицу, сразу попадая под упругий напор верхового ветра. Люди кутаются в платки, подвязывают тесемки ушанок, отворачиваются поначалу от ветра, чтобы лицо попривыкло к его обжигающему прикосновению. Особенно холодно и неприятно на улице формовщицам. Они одеты полегче — тепло в цехе, обуты в резиновые сапоги, а то и галоши и ватные самодельные чулки. В такой обуви на Амуре ноги быстро стынут, приходится почаще бегать к костру греться, а то без ног останешься. Иду вместе с этими бедно и неудобно одетыми и обутыми женщинами, смотрю на их печальные лица, слезящиеся от ветра и мороза глаза, потрескавшиеся губы, и мне жалко их до слез, и стыдно мне тоже до слез, что я, молодой, пусть тоже в ватнике и подшитых многократно валенках, ничуть не мерзну. Разве всем этим женщинам, еще молодым, девушкам ходить в таком тряпье и рваных сапогах и опорках? Разве их нежными руками пилить эти бревна в три обхвата? Разве женская эта работа, от которой надрываются сильные мужики?

За правобережными темными сопками занимается багровая заря, суля ветреный день и неуступчивость мороза. Женщины побойчее разжигают костры. Все молча разбирают длинные канадские пилы, кувалды пудовые,

колуны, стальные клинья, которыми разваливают надвое метровые поленья. Есть тут и мужчины: старики-вахтеры, служащие конторы, десятники. Мало мужиков. Вылущила их война и продолжает вылушивать. На днях хромоногого возчика Зайнуллина призвали. Тотальная к концу войны мобилизация...

Вместе со всеми пришел и Кондратенко. Высмотрел себе напарника — Курносова.

— Ну-ка, как сам начальник топливного склада может робить! — подтрунивает директор над Курносовым. Тот благодушно улыбается. Этому богатырю, не уступающему ростом Кондратенко, пила не страшна.

По давнишнему уговору я пилую с начальником планового отдела — самого важного после бухгалтерии отдела — Григорием Вервейко. У него грустное, посиневшее от холода лицо, запотевшие очки. Он топчется на одном месте, размахивает руками, пытаюсь согреться. К этой его привычке я давно присмотрелся, потому терпеливо жду, когда кровь «заиграет по жилам» у моего напарника.

Вервейко, как и Кондратенко, Никандров и многие другие, на кирпичный завод попал еще служа в стройбате в чине воентехника. Демобилизовавшись перед войной, остался здесь начальником отдела. Женился на хохлушке Насте, тихой хозяйственной девушке. Вервейко вежлив, сдержан, уживчив. Таких людей иногда называют старомодным, но точным словом «благовоспитанный». Эта благовоспитанность в те времена почему-то в простой среде работников завода имела презрительное определение: «слюнтяйство гнилой интеллигенции». Не был Вервейко «гнилым интеллигентом», был просто чересчур вежлив на общем фоне крайне упрощенных взаимоотношений: «Была нужда расшаркиваться!..» И хотя подсмеивались над Вервейко, внутренне уважали его за «обходительность».

— Начнем? — предлагаю я.

— Давай, — покорно соглашается Вервейко и ставит пилу на толстое, в два обхвата, бревно. Ровно зашаркала пила, запахло смолой. Мы уже давно научились пилить, экономно расходуя силы. Пилить и колоть дрова — целая наука, тут нужен опыт. И хороший инструмент. Мы с Вервейко научились выполнять норму, чему и сами удивлялись. Ведь ни один из колонистов, например, нормы не выполнял, я уже не говорю о женщинах. На двоих надо разделать восемь кубометров метровых чурок.

Рядом пилят Перетрухина с Сопрыкиной. Даша изредка сердито покрикивает:

— Не тяни ты пилу в сторону!

— Я не тяну, — оправдывается Пелагея.

— В деревне родилась, а пилить не научилась, — ворчит Даша.

— А у нас кизяком топят, — отвечает Сопрыкина. И чтобы отвлечь внимание товарки, спрашивает участливо:

—От Николая-то есть что-нибудь?

—Молчит. Второй месяц письма нет, — вздыхает Даша.

До войны я жил в одной комнате с мужем Перетрухиной Николаем Шуваевым. Честный, сдержанный человек, он появился на заводе вскоре после окончания строительства железной дороги Волочаевка — Комсомольск. Дорогу строили заключенные. Тысячи заключенных. И многие после окончания строительства, освободившись, приходили работать на стройки и предприятия Комсомольска. Пришел и Шуваев. Он стал работать слесарем под моим началом в мастерской. Не по своей воле попала в Комсомольск и Даша Перетрухина. Она была осуждена за кочан капусты, унесенный с колхозного поля голодным малолеткам-племяшам. Даша говорила: «Если снова пришлось бы, снова унесла. Разве можно терпеть, когда малые дети гибнут с голоду?» А Шуваева судила на три года «тройка», косившая в те годы всех, кто попадался в ее сети. Его захватили при облаве без паспорта на Балтийском вокзале в Ленинграде, когда он ехал в Гдов как раз за этим паспортом, имея нужные на то документы. Не захотели даже выслушать. А ведь он всего два месяца назад был секретарем Гдовского райкома комсомола. Вроде бы не мог вызвать подозрения у самого усердного искателя «врагов народа». Перед самой войной Шуваева выселили из Комсомольска на Урал как имевшего судимость. Перед отъездом он зашел ко мне, нервно усмехаясь говорил: «И отсюда гонят, с самого краешка света. Нашли врага...» Шуваев не успел вызвать Дашу, началась война, ушел на фронт.

Чуть поодаль Даши и Поли возятся возле чурки бухгалтер Мацафей и вахтер Тримаскин. С хаканьем бьет Тримаскин по стальному клину кувалдой, а Мацафей смотрит. Он пользуется любой минуткой, чтобы передохнуть. Никто поэтому не любит работать с ним в паре, что нимало не смущает бухгалтера. Он похлопывает рукавицами, побряхтывает, щурится на краешек багрового солнца, высунувшегося из-за сопки, говорит мечтательно:

— Амур... Амур... Амур, дорогие дамы, означает — любовь. Когда слышишь это слово, то сразу воображаешь прекрасных женщин, галантных кавалеров. И ты словно находишься в надушенном дорогими духами будуаре какой-нибудь светской львицы. Ах, ах! Или ты в парке: цветы, запах лаванды, фонтаны, скамьи под вековыми липами... «В парке Аир распускаются розы...» Ах, ах, где мои молодые годы, где Одесса!

— Как хорошо вы все рассказываете! — восклицает Мария Сунгурова — А будуар что такое?

— Ну комната такая, гостиная красавицы, — отвечает Мацафей. — Конечно, не в бараке живет прекрасная дама...

— Не забивайте вы головы девкам, — сердится Перетрухина. — Им и так тошно приходится, а вы кавалеры. Где они, кавалеры?...

— Придут! Придут кавалеры, не журитесь, девушки милые, —

посмеивается Мацафей, то и дело протирая слезящиеся глаза. — Все еще будет, все, я знаю...

Солнце поднялось над сопкой, стало еще холоднее. Туман сизый над мертвой равниной реки. Люди некоторое время работают молча, только слышится звон пил, глухие удары кувалд и колунов, да треск распадающегося на части дерева. Горят ярко костры, к ним по очереди подходят люди, чтобы обогреть онемевшие от мороза пальцы.

— Давай передохнем малость, — предлагает Вервейко, вытаскивая тонко поющую пилу из разреза в бревне. Серебряной рыбиной ложится пила на снег. Закуриваем махорочные самокрутки. Бережем каждую крупинку самосада. Со стороны посматривают курильщики, рассчитывая получить от нас «бычка». На базаре самосад продают спичечными коробками.

Вдали, там, где Амур соединяется протокой с озером Мылки, в морозном тумане показалось темное шевелящееся пятно. Оно растет, приближается, послышался лай собак и сердитые мужские голоса. Вот уже видны первые ряды людей, одетых в длинные, ниже колен, зеленые ватники. Знакомая одежда... То ведут колонну заключенных.

— Куда это их? — говорит Вервейко. — Ты смотри, одни женщины...

Верно, в колонне только женщины. Молодые, примерно одного возраста. Но казались они старыми, их старили согбенные тяжестью судьбы спины. Они одинаково невидящими шагами слепых брели по снежной целине в своих нелепых, нарочито небрежно и безобразно пошитых ватниках, треухах «услоновках», в стеганных штанах и тряпочных бахилах на ногах. Казалось, они без всякого интереса смотрели на нас, «вольняшек», пилящих дрова. Наверно общность переживания холода, голодной тоски, мировой неустроенности роднило нас с этими женщинами в бесконечной колонне. Подошедший к нам прикурить конвойный, сообщил, что колонна эта вся из «указниц».

«По пять-восемь лет за прогул», — уточнил он. Что здесь, на берегу, им предстоит сегодня очищать от снега землю, тут будут строить паромную переправу через Амур.

О том, что от Комсомольска до Советской Гавани строится самыми скоростными темпами железная дорога мы уже давно слышали.

— Вот и прекрасные дамы к нам пожаловали на randevу! — громко скалambuрил бухгалтер Мацафей. Но шутку его все встретили осуждающим молчанием. Неуместно и кощунственно звучала она в такой драматической обстановке.

А бригадиры заключенных уже раздавали женщинам лопаты, доставленные вслед за колонной на конных санях. Как при замедленной киносъемке задвигались женщины, поддевая лопатами жесткий снег.

Видеть и общаться с заключенными нам не в диковинку. Начиная с 1937 года вокруг Комсомольска появились концентрационные лагеря. Они

множились, расширялись. Десятки тысяч людей, согнанные за колючую проволоку, строили в Приамурье Байкало-Амурскую дорогу — один из самых ненужных объектов, сооружаемых в годы «культы личности». Мы всегда с сочувствием и состраданием относились к обитателям лагерей, старались облегчить как-то их участь, если иногда приходилось работать с ними вместе. И хотя устроители лагерей старались изолировать заключенных, не допускать общения с людьми вольными, полностью исключить таких контактов не удавалось. Были в лагерях уголовники: воры, бандиты, убийцы, преступники, коим заслужена лагерная кара. Но часть осужденных были самыми нормальными, добропорядочными людьми. Среди них было немало таких, как мой друг Николай Шуваев.

Взжик-взжик! Взад-вперед движется в уставших наших руках пила-рыбина. Пахнет смолой. Тяжко отваливается очередное полено от длинного ствола кедра. Вервейко ставит полено «на попа», я придерживаю клин, Вервейко сначала осторожно бьет по клину, сталь входит в древесную мякоть. Я убираю руку, Вервейко теперь бьет с размаху, с лихим хеканьем. Я долго учил его попадать в боек клина кувалдой. Это искусство, я этому обучался еще в ФЗУ в тридцатых годах. Вервейко лупит кувалдой что есть силы, чурка трескается, распадается на две части. Теперь дело идет веселее. Мы по очереди берем кувалду, по очереди выкладываем из готовых поленьев штабель. Нашу работу будет беспристрастно принимать десятник. И будет смотреть, чтобы «воздуха» много не наложили, не расположили поленья с большим зазором...

— А ну, давай, отойди! — визгливо кричит молодой конвойный, клацая затвором винтовки. Мы разом обернулись на крик. В ста метрах от нас, там, где копошились с лопатами женщины в «услонках», стояли Даша Перетрухина и одна из заключенных женщин. Даша обнимала ее, а та, припав лицом к груди Даши, видно, громко плакала навзрыд. К ним бежал конвойный солдат, матерно ругаясь. Он подскочил к женщинам, растолкал их в стороны, заключенная упала в снег, Перетрухина устояла. Она что-то выкрикнула, наверно не очень-то лестное в адрес конвойного, потому что тот даже сделал выпад на нее винтовкой с примкнутым штыком. Но Перетрухина, плюнув под ноги конвойного, обернулась к нему спиной и молча пошла прочь.

— Кого ты там встретила? — указывая на колонну, спросил я трясущуюся от гнева женщину.

— Вон, мозгляк, не дал как следует поговорить с человеком... — возмущалась Перетрухина. — Надька это, Чешуина Надька, помнишь, за прогул ее...

Я вспомнил. Полгода назад, осенью, Чешуина прогуляла дня три. Никандров послал к ней Холявина выяснить, что с девушкой: заболела или решила прогулять? Не выйти на работу в годы войны, при существующих в ту пору драконовских законах, поступок почти безумный. И оказалось, что

Чешуина решительно отказалась выходить на работу. «Нет сил больше никаких...» «Судить будут, дура, жизнь поломают», — убеждал перепуганный Холявин. Ведь скрыть прогул невозможно, слишком много людей об этом знают... Надо подавать на нее в суд, такова обязанность администрации. Не подашь, сам сядешь. За всю войну только один рабочий, пожилой мужчина, был осужден за прогул. А тут молодая девушка. Мы все знали каторжные порядки, царящие в лагерях, могла Чешуина не вернуться оттуда. Уговоры не помогли, Чешуина уперлась: «Пусть садят, там не хуже будет», — заявила она на суде. Дали Чешуиной восемь лет исправительно-трудовых лагерей. С горечью встретили все кирпичники этот приговор, и с недоумением: «А исправлять-то что в Чешуиной? Казнить за что? За то, что не хватило сил у этой павшей духом девушки бороться с лишениями и голодом».

Взжик-взжик! Еще одна чурка откатилась от бревна.

— Молодцы! — хвалит нас подошедший к нам Кондратенко. Он почти всегда участвует в таких вот субботниках на пилке дров, хотя каждый раз работницы говорят ему: «Иван Дмитриевич, ты не пили, ты получше заводом руководи». На что он отвечает шуткой: «Зазнаться могу, соцнакопления появятся еще...», — хлопает себя по тощему животу. Женщины дружно смеются.

— Садись, разговор есть, — присел на бревно Кондратенко. — Перекурите. Есть шанс рыбки достать.

— На махалку? — спросил Вервейко.

— На махалку — какая рыба, — отмахнулся Кондратенко. — Пять тонн частика предлагают.

— Кто такой щедрый? — спросил я.

— Щедрый? Да нет, ловкий скажи, — усмехнулся Кондратенко. — Рыбакколхозсоюз сделку предлагает: мы ему кирпич, он нам — рыбку. Как полагаете, дать согласие?

— А по этому месту не надают? — похлопал себя по шее Вервейко.

— Могут, очень даже просто. Но я отчасти заручился согласием главного инженера Стржалковского.

Кондратенко помолчал, улыбаясь своим каким-то мыслям, потом продолжил:

— Пришел к Стржалковскому, говорю: «Можно в обмен на рыбу дать полета тысяч кирпичей. Есть у нас заначка... Люди голодают, кормить надо...» Он посмотрел так пристально на меня и говорит: «Ты, Кондратенко, типичный выдвигенец 20-х годов. Тебя надо еще мыть, полоскать, шлифовать долго, чтобы из тебя вышел настоящий администратор. Ну к чему ты мне рассказываешь о подробностях твоей предстоящей сделки, незаконной, кстати? Тут нужен лишь тонкий намек, понимаешь? Не понимаешь. Ты можешь получить от меня только молчаливое согласие, то есть я не стану тебе мешать. Но подробности мне

знать не надо, так как это сковывает меня, обременяет нравственно, я как бы становлюсь твоим соучастником в нарушении закона. Зачем мне это? У меня своих прямых обязанностей хватает».

— Ну и как ты сам решил? — спрашиваю я.

— Вот и хочу с вами посоветоваться. Только надо без лишнего шума все обделать. В узком кругу, так сказать. Об этом и Стржалковский намекнул.

Пять тонн рыбы — целое богатство! Надо брать, а там что будет...

Не успел отойти Кондратенко, а мы с Вервейко взялись за пилу, послышалась громкая перебранка, поссорившихся между собой женщин формовщиц. Все голоса перебивал визгливый голос Насти Еремкиной:

— Я солдатка, черти окаянные! Не хочу я пилить больше, больная я вся. У меня нутро все больное! Дите у меня оставленное в бараке больное...

— А мы здоровые? — наступала на нее напарница. — Дите у нее! У меня трое, а я пилую. Мне можно?!

— Вот и пили, а я не хочу, — злым плачущим голосом отбивалась Еремкина, широко разевая свой лягушачий рот. Слезы лились по рябому лицу этой на редкость некрасивой женщины с широкими скулами, низким лбом упрямыцы, щелками-глазами.

Еремкина была предметом общих насмешек. Оставшись после ухода мужа на фронт с малолетней дочкой, эта неуклюжая и глупая женщина растерялась. Она жила словно в кошмарном сне и все время думала о еде. Это мощное существо, казалось, особенно страдает от голода, постоянного недоедания, забывая часто о своей дочери. Она могла иной раз незаметно для себя сжевать жалкую пайку хлеба, полученную по дочкиной карточке. И за это женщины решительно осуждали ее.

Подошла к спорящим Перетрухина, тронула Еремкину за плечо, сказала умиротворяюще:

— Успокойся, Настя. Погоди. Да хватит тебе кричать! А вы, — обратилась она к окружившим спорящих, — оставьте ее. Отпустите. Она больная, бабоньки, — Перетрухина гладила плечо теперь уже навзрыд плачущей Еремкиной.

— На ней дрова возить!.. — не унималась напарница Еремкиной.

— Нет-нет, бабоньки, она больная. Ты иди, Настя, иди...

А когда Еремкина ушла достаточно далеко, укоризненно сказала обступившим ее женщинам:

— Человек и так обижен судьбой. Раньше про таких, как Еремкина, говорили: божий человек, юродивый. Ну зачем над бедой человека насмехаться? Нехорошо это, бабоньки, не по-русски это!

Я всегда восхищался умением этой полуграмотной женщины, с трудом читающей мужнины письма с фронта, убедить людей, внушить им уважение к себе, совету своему. В ней была материнская такая, опекающая любовь к людям, сострадание к ним. Эти чувства всегда ценятся в народе, они покоряют самого озлобленного жизнью и давно разуверившегося в том,

что существуют в мире такие понятия, как сострадание и любовь.

Все смотрели молча, как Еремкина, тяжело переступая обутыми в тряпочные постолы ногами, поднимается на береговой взлобок. И тут все увидели вспыхнувшие ненужным днем светом электрические фонари над крышами завода.

— Свет дали! — закричали радостно десятки голосов.

— Айда по цехам!

— Инструмент с собой, инструмент с собой! — кричал десятник лесосклада.

Женщины вереницей тянулись на высокий берег Амура, скользя на обледенелой дороге. Мужчины продолжали пилить бревна, складывать дрова в поленницы.

А там, где словно во сне копошились заключенные женщины, кричали конвойные:

— Становись на обед!

ВОСЬМОЕ МАРТА



Разоренова Александра — бухгалтер

— Главный! — позвала меня Лукина, когда я, бегло осмотрев состояние дел в карьере, намеревался покинуть его. Лукина стояла на глиняном уступе, опершись о черенок лопаты. Она в испачканной глиной юбке из «чертовой кожи», в резиновых не по ноге больших сапогах, в майке, туго натянутой на могучей ее груди. Я всегда испытываю робость, разговаривая с Лукиной. Уж больно остер язык ее и неожиданны ее словесные выпады. Каждую мысль она сопровождает пословицей, поговоркой, присказкой, иногда до того соленой, что и мужики в смущении крутят головами: «Во, черт-баба!» Подхожу к уступу поближе.

— Главный, — продолжала Лукина, бросая лукавые взгляды на товарок, прислушивающихся к нашему разговору. — Через три дня — восьмое марта. Наш праздник, бабский. Как отмечать будем?

— Как? Торжественное собрание будет... доклад... — Начал я

перечислять мероприятия. — Как всегда...

— Доклад — ладно, это вроде бы молитвы. Пусть. Но повеселиться бабам надо? Цельный год вкалываем, как проклятые, погулять хочется.

— Гуляйте, — согласился я. — Кино будет, танцы...

— Танцы, — пренебрежительно повела плечом Лукина. — Мы тут, милый, так натанцуемся за десять часов, что ног не тянем. Да и разучились мы. С кем танцевать прикажешь? Ты вот что лучше скажи: вы с директором, с профоргом думаете вечер как следует закатить, чтобы с вином, с закуской. Чтобы потом и поговорить обо всем, и всплакнуть можно, и повеселиться.

— Насчет вина и закуски я не знаю, — пытался уклониться от пугающей меня перспективы быть втянутым в почти неразрешимое в такое время мероприятие. — Я директору скажу... Не знаю я...

— А ты знай, — построжела Лукина и губы зло поджала. — Ты — главный инженер, ты к нам ближе, мы тебе и говорим. И с тебя спросим. А с директором ты уж сам веди разговор. Верно, бабоньки?

— Верней не надо!

— Ты, Гена, возмись-ка сам. В трест сходи, поклонись.

— Трестовские-то, небось, не одним докладом обойдутся...

— Я попробую, — сдаюсь я под напором такого женского единодушия.

— Попробуй, попробуй... — поощрила Лукина, заключив подковыркой: — Одна попробовала да родила...

Хохот покрыл последние слова Лукиной, вогнавшие меня в краску.

Кондратенко я нашел возле склада. Здесь разгружали с полуторки мороженого карася. Рабочий, поторапливаемый шофером, лопатой сгребал рыбу на снег.

— Ты мне рыбу не порть, не кроши! — прикрикнул Кондратенко, довольный, видимо, такой прямо-таки манной небесной. Мне сказал:

— Отпустишь десять тысяч кирпичей, как вторую машину с рыбой доставят. Там, в рыбколхозсоюзе, тоже ухари сидят: враз облапошат. Так что смотри...

Я высказал Кондратенко просьбу работниц, он помрачнел.

— Знаешь, мне такие дела вот! — провел ладонью по горлу. — Ты попробуй толкнуться к предку постройкома Шумилину. Ты ведь с ним долго работал по нормированию, тебе удобнее.

Три дня до восьмого марта... Куй железо... Я запрягаю лошадку Розку в легкие сани и еду в трест. По пути прихватываю с собой кассиршу, ей хлебные карточки получать надо. Кучерить старший конюх поручил татарину Нургали Тимаеву. Он всю дорогу охает, кашляет, плюется, вызывая негодование кассирши.

— Что ты как верблюд плюешься? Люди же сидят... — ворчит она.

— Больной совсем, зачем верблюд... — обиженно бормочет Нургали.

По дороге встретились с длинной колонной заключенных. Мужчины

разного возраста (были совсем мальчишки) с привычной обреченностью шагали по дороге, не обращая внимания на нас, съехавших на обочину дороги в сугроб. Каждый раз, когда я встречался с такой вот колонной, мне было очень неловко перед ними, заключенными, особенно такими, которые имели пропуска на свободное хождение по городу, поколебали во мне твердое когда-то убеждение, что «в тюрьму зря не садят». Не хотелось верить, что это далеко не всегда так, в несправедливость судей не верилось, но зеки, вызывающие у меня доверие, приводили такие примеры и факты, что их нельзя было опровергнуть. И мы, дети своего времени, всегда впадали в крамолу, разрываясь между официальными версиями и железной логикой самой жизни.

Начиная с тридцать седьмого года вокруг Комсомольска стали расти и расширяться концентрационные лагеря. Огороженные высокими заборами, оплетенные колючей проволокой, со сторожевыми вышками по углам, эти остроги наводили грусть и ужас на наши юные души. Сотни людей, отгороженные забором и недоброжелательством общества, томились здесь годами, ежедневно выходя на строительство БАМа. Сооружение восточной ветки БАМа велось вплоть до порта Ванино. В годы войны руками заключенных строился нефтепровод Оха-на-Сахалине — Комсомольск-на-Амуре. Шестьсот километров дикой тайги, марей, сопок, воды Татарского пролива у мыса Лазарева пришлось преодолеть людям, вооруженным лопатой и киркой... Этот невероятно тяжелый труд в невероятно тяжелых условиях по-своему описал Василий Ажаев в своем романе «Далеко от Москвы», получившем «добро» тогдашних высоких инстанций. Мы-то, свидетели этого труда, знали истину и принимали роман, как одну из тогдашних талантливых подделок настоящей правды жизни, называемых потом, спустя годы, деликатно, лакировочной литературой. Не лакировка — сплошная подделка такие книги. Они действовали с той же разрушительной силой на умы, как и вульгарные наркотики. Но наркоман-то знал вред зелья, одурманившего его, читатель же книг, подобных «Далеко от Москвы», «Кавалер золотой звезды» искренно верил в правду воспроизводимой на их страницах жизни, пытался учиться у них, поступать преподанным там рецептам. Например, каким кристально честным и добрым подает автор начальника строительства нефтепровода Батманова. Мы-то знали, что прототипом его стал начальник Амурлага Петренко. Мне приходилось видеть этого преуспевающего генерала, руководителя времен культа личности. Раздобревший, краснолицый, одетый в мундир, он, казалось, не видит людей, смотрит сквозь них. Этот человек был облечен страшной властью над десятками тысяч людей. И вот странно, Петренко обладал авторитетом умелого руководителя. Даже находящиеся под его непосредственной властью заключенные прощали ему хамство, грубость истового сатрапа, иногда отзываясь о нем в превосходной степени: «Голова! Этот сквозь гору

пройдет, а своего добьется». И проходил буквально сквозь горы, и добивался своего руками и жизнью тысяч людей, замордованных, голодных, больных, страдающих от несправедливой обиды.

И в городе местные власти подобострастно относились к Петренко. Уважительно говорили: «Петренко выделил... Петренко разрешил... Петренко выступил на активе... Петренко со Сталиным запросто говорит!.. Это надо ж, с самим Сталиным! С самим вождем!» Слава «вождя народов» подсвечивала эту коренастую присадистую фигуру ограниченного и жестокого человека, ходившего в фаворе у самого Берия.

Пройдут годы и правда истории восторжествует, и будут названы имена и место их в подлинной истории. Для многих это торжество правды, избличение культа личности, ужасов лагерей будет таким неожиданным, и потому особо страшным и необъяснимым. Для тех же, кто, как мы, почти ежедневно сталкивался с этой страшной неправдой, многое уже прошло через душу, отболело, оставив горький осадок вины и позднего раскаяния. Раскаяния... А что мы могли сделать? Могли и делали. Мы не могли освободить несправедливо осужденного, но мы, встречаясь с заключенными, репрессированными, всегда относились к ним как к равным, не поддаваясь официальной пропаганде, с великодушием юности мы тем вселяли в сердца обиженных веру, что есть, существует на свете, в народе нашем, доброта и совесть, истинно человеческие отношения и они победят зло.

Мы сохранили память о несправедливости. И память эта послужила потом добру и правде.

В самом конце колонны я заметил знакомое лицо. Этот человек работал в нашей заводской механической мастерской. На день его, вместе с несколькими мужчинами, выпускали из лагеря без конвоя. Петр, так звали заключенного, делал для Петренко и другой амурлаговской элиты люстры особо затейливой формы. «Стиль рококо, — посмеивался Петр. — Я изготавливал такие на воле, в Туле. Самоварщик я, потомственный. Но и оружие могу... За то, что только могу и попал сюда по 58-й. Приписали мне «изготовление оружия для диверсионной банды». Такие-то пироги». Был Петр неунывающим человеком, сидел в лагере давно, привык, да и срок кончался. Он был убежден, что каждый гражданин нашей страны обязательно побывает в лагере. Какую-нибудь провинность найдут у каждого, а не найдут, придумают. Он любил напевать при этом: «Не пылит дорога, не шумят кусты, подожди немного, отдохнешь и ты...» Петр каждый раз, приходя в нашу мастерскую, приводил других людей, из «доходяг». «Пусть подкормятся в вашей столовке», — говорил он, давая своим подручным по трояку, а когда денег у него не было, «доходяг» кормили мы, беря их с собой в столовую. На всю жизнь запомнился мне один из таких доходяг. Спустя полстолетия ясно представляю бородатое лицо, распухшее от голода, слезящиеся воспаленные глаза. «Летом к нам

поступил. От седьмого восьмого тридцать второго... — пояснил Петр. — Этот долго не протянет: сразу духом пал, как тюремный ватник надел». Бородатый доходяга мало помогал Петру, больше жался к раскаленной чугунной печке и жаловался на горькую свою судьбину: «Картохи узял с поля колхозного пол ведра... Внуки с голоду пропадали совсем. Дак восемь лет! Восемь, господи! Не переживу я, милые мои... — плакал он по-мужски без слез. — Пропаду скоро...» Мы его успокаивали, как умели, указывали на Петра, его пример, но утешения не помогали. Иногда он отвлекался от тягостных мыслей, даже принимал участие в обсуждении каких-нибудь проблем. Мне запомнились почему-то его слова по части технологии ремонта ходиков, висевших на закопченной стене мастерской. «Вы их керосилом,— бормотал он,— керосилом смажьте. Я всегда дома так вот, керосильчику, они и пошли снова... Дома- то так всегда... Вот Новый год скоро... Дома-то жена старая, с внуками... Родителей-то нет у внуков. Мать умерла, отец пред колхоза был, сеял говорят не так... Посажен отец, давно не пишет...»

Через месяц пришел в мастерскую Петр выполнять новый заказ лагерного начальства, кратко сообщил: «Помер тот, который часы керосилом... Похоронили... Не сразу, ждть пришлось бедняге земли... У нас — как накопят десяток покойников, — так и похороны. Без речей и музыки... Ночью увозят, как дрова».

В тресте с первых же слов председателю стройкома о цели моего визита, почувствовал, что мне повезет.

— Вы это хорошо придумали — вечер провести, — одобрил председатель Шумилин. — Надо помочь. Меня пригласите в гости? — прищурился хитро.

— Николай Васильевич! Ну конечно же, дорогим гостем будешь! — польстил я.

— Ладно, ладно, подумаешь — напрашиваюсь, — отмахнулся председатель. — Но спиртик-то не у меня, грешного, под началом, а у начальника ОРСа. Он у нас вредный, Степаненко. Новая метла. Со старым-то я находил общий язык. Ну ничего, попробуем уломать. Да, новый анекдот есть. Как расшифровывается ОРС? Не знаешь? Слушай: обеспечить раньше себя; обеспечить родных своих; остальное рабочим и служащим. Здорово, верно! Придумают же, — хохотал он. А умолкнув, сказал серьезно: — А что? Так оно на деле и бывает, к сожалению. Ну пошли!

Последний раз я видел Степаненко около года назад. Работал он прорабом на промплощадке, был худ, истощен до синевы, ходил в драном полушубке и латанных валенках. Сейчас за столом начальника ОРСа восседал розоволицый толстячок, упитанный той неперменной упитанностью, коею отличались номенклатурные работники того времени, имеющие хотя чуточные права на то, чтобы распоряжаться какими-нибудь

ценностями материальными напрямую или опосредственно. Степаненко одет в «сталинку» из габардина цвета хаки, синие диагоналевые галифе, из-под стола высывались ноги в белых, обшитых желтой кожей бурках. Чуть кивнув нам аккуратно причесанной головой, недовольно оторвал взгляд от бумаг, лежащих на столе, холодно осведомился:

— Чем обязан?

Рядового просителя такой вопрос обескуражил бы, смутил, — и гони его, или необязательно пообещай. Но мой проводник Шумилин сам был во френче из габардина и в галифе, и белых бурках, и потому ничуть его вопрос не задел своей холодностью. Он весело пропел, присаживаясь в кресло, обитое золотистым плюшем:

— Обязан, обязан, дорогой Степаненко, еще как обязан. Ты знаешь, что через три дня восьмое марта?

— Ну знаю. Дальше, — насторожился начальник.

— Так вот, спиртику для дам наших, для кирпичниц надо подбросить. Помоги?

— Не могу, — запыхтел Степаненко. — Пить? А спирт у нас для лечебных целей. Не могу! Война, понимаете, а тут спирт на выпивку...

— Ну, допустим, не только для лечебных целей, — нахмурился председатель. — Ты кому-нибудь эти байки о лечении рассказывай, не мне, профсоюзному вождю. Вчера с тобой тоже лечились в столовой ИТР?

— Так то банкет... Начальство из главка, из края... Гости... — замешкался Степаненко, поглядывая на меня: «Лишний свидетель?» — Ладно, хорошие вы мужики, дам я вам спирта.

— Не нам, дамам... — поправил председатель.

— Дамам, дамам, — Степаненко начертал несколько слов на листке из блокнота, подал мне, предупредив:

— Спирт оплатить.

— Спасибо тебе от кирпичниц! — посмеивался председатель, довольный, что убедил орсовского «бога». А мне дорогой сказал:

— Спирт бери сейчас же, живо на склад! Эта скотина Степаненко может дать команду подзадержать, а то выдать половину.

И вот мы с Тимаевым едем обратно на завод. Я правлю лошадью, а Тимаев бережно поддерживает две огромные бутылки со спиртом.

И все охал:

— Какое богатство, голова, начальник! Какое богатство!

Если учесть, что в те времена пол-литра водки стоила восемьсот рублей, то везли мы, действительно, большое богатство.

За день до праздника заволкло тучами небо, подул свежий южный ветер, верный предвестник пурги, которая, начавшись, обычно продолжалась в этих местах не менее трех суток.

— Это как по расписанию, — подтвердил такой прогноз на очередной планерке Курносов. А он-то, родившийся на Амуре потомок первых

русских переселенцев, знал здешнюю погоду.

И верно: с утра восьмого марта пошел снег, заозоровал штормовой ветер. Он пронизывал насквозь плохо одетых людей, срывал с ветхих крыш рубероид, прижимал к земле дымы заводских труб, наметал сугробы на дорогах, тропках, принуждая кирпичников непрерывно расчищать подходы и подъезды к цехам и карьерам. Но несмотря на все это, настроение у наших женщин было праздничным. Лукина, узнавшая, что мы достали для вечеринки спирт и кое-что из закусок из фондов дополнительного питания, оповестила об этом всех. Несколько женщин отрядили в столовую готовиться к банкету. Я обходил цехи, поздравлял женщин с праздником. И везде встречал оживление, улыбки на усталых, но сегодня повеселевших лицах этих, вконец, кажется, измотанных, женщин и девчат.

— Сегодня за нами мужчины должны ухаживать! — кричит со своей вышки на прессе Мария Сунгурова.

— Где они, мужчины! — вмешивается Лукина. — Этот, что ли? — показывает на рыжеволосого конопатого слесаря Никиту Манаенко.

— А что? Я мужик в самом соку, — посмеивается Манаенко.

— Вот именно: в соку. Сок-то из тебя, паря, давно вышел, — острит под общий смех Лукина.

Наш заводской «треугольник» — я, Кондратенко, председатель завкома Кривошеев — обсуждаем детали проведения вечера. Доклад коротенький должен быть. Его взялся сделать Копейкин. Он тоже сидит вместе с нами, дает советы. Составили списки премированных, награжденных почетными грамотами. Премировали рыбой, сохачьими лапками, мороженой картошкой. Деньги в ту последнюю военную весну мало чего значили...

Приятную нашу беседу о предстоящем празднике прервал старик пожарник, подчиненный Копейкина. Он ввалился без спроса в кабинет и закричал:

— Товарищ Копейкин, горим!

У Копейкина затряслись губы, лицо посерело. Спросил сорвавшимся голосом:

— Где горит?

— Карьер... опилки...от печки... — последние слова донеслись уже из коридора. Пожарник выбежал на улицу, вслед за ним выскочили и все мы. Каждый понимал, что пришла большая беда. И завод может остановиться, и грозит нам всем, ответственным, большим за все это наказанием.

Не зря старый Копейкин под смешки кирпичников регулярно проводил учения со своей инвалидной командой. В считанные минуты были брошены к карьере шланги от исправных всегда гидрантов к очагу огня. Правда, самого огня видно не было, но дым зловеще выбивался клубами из-под настила бревен и слоя опилок под ним. Все заводчане сбежались сюда. Мы с Кондратенко обошли в карьере все забои, выводя людей на свежий воздух, проверяя, чтобы никто не остался. Мы кашляем и чихаем в

задымленном подземелье. Встретили здесь Марфу Лукину. Она, невесело улыбаясь, сказала:

— Тю-тю наша вечерка. Ну все нам не везет! Бедному жениться и ночь коротка...

— Если к вечеру потушим, вечер проводить будем, — объяснил Кондратенко. — А ну, бабоньки, помогайте! Снегом засыпайте, надо чтобы кислород не поступал к огню.

Направляемые толковыми распоряжениями Копейкина люди, к сумеркам пожар потушили. Больших повреждений он не нанес. И, видя успешный исход, все ликовали, сбросили нервное напряжение. И, как всегда бывает в таких случаях, слышались шутки, подначки, смех.

Вместительный зал столовой заполняли люди. Наверно впервые с начала войны, а то и пораньше того, люди пришли сюда принаряженными. Пусть ватник поновее, рубашка почище обыденной и не так застирана. Да и входили в столовку не как всегда: торопливо, суетно, побыстрее норовя занять очередь к хлеборезке, место за столом, — входили сегодня по гостевому церемонно, уступая друг другу дорогу: «Проходите, тетя Маша...», «Петровна, к нам, пожалуста, с нами садись...» Верхнюю одежду клали на широкий прилавок неработающей сегодня хлеборезки (как до войны — хлеб на столе!), кому не хватило места, клали пальто и ватники на пол. Ведь такой «излишней роскоши», как гардероб, в столовых того времени не полагалось...

Столовка, столовка... Продолжение барака, барачная гостиная. И детство, и юность мои связаны неотрывно со столовой, с ее всегда скудным меню, грязью, паром, пахнущим мылом чаем, свирепой руганью голодных и утомленных стоянием в очереди людей: «Не давай ему! Ловок больно! Гоните в шею того ухаля от кассы!» Такая же томительная очередь и давка у хлеборезки. Но есть еще тягостные минуты ожидания на крыльце перед открытием этого вместилища хлеба, супа, форшмаков из селедки, каш, политых розоватым, как сукровица, несладким киселем. По меню в столовой можно было точно знать о состоянии продовольственной проблемы в государстве на данный период. С наступлением войны, например, вот в этой самой столовой сразу исчезли мясо, жиры, на столах появились супы с клецками из ржаной муки. С отвращением и чувством безысходности вылавливали мы из мисок серые комочки теста, оставляя воду. Самые отчаявшиеся и испуганные внезапно наступившим голодом (не первым в их жизни...) собирали миски и выпивали прямо через край (дефицит ложек...) жижу, дабы пополнить белками истощенный организм. Но вода из-под клецок приносила беднякам только вред. Одни пухли нехорошей пугающей припухлостью щек, рук и ног, другие наоборот — страшно худели, превращаясь в ходячие скелеты. И те и другие чаще умирали, если не попадали в больницы, давно переполненные. От голода люди чаще всего умирали в самом начале войны, пока не приучились

управлять своими чувствами, телом своим, довольствоваться самым малым. Правда, предел малости тоже есть, но об этом я расскажу ниже.

А сейчас, позабыв на время о всех невзгодах военного быта, вернемся к банкету.

На совещании «треугольника» мне поручили «общее» руководство банкетом. «Чтоб гладко все прошло, чтоб без шума, ругани, — поучал Копейкин, — спирт будут пить, учтите. Русская баба под хмельком может выкинуть номер. Да тут еще баба до невозможности нервная, обиженная судьбой, войной проклятой».

Наверно излишне беспокоился старик Копейкин. Я обхожу столовую, кухню, всюду вижу веселые лица женщин, таких ласковых сегодня, умиротворенных. Куда пропала будничная угловатость, визгливая крикливость, далеко не женский лексикон. Ты посмотри, как услужливы друг к другу, какая плавная и певучая речь слышится здесь и там. И смех — не злой, уязвляющий, но такой грудной, воркующий смех женский, смех призывной, создающий в этом обшарпанном, пропитанном застарелыми запахами грубой человеческой пищи зале атмосферу милой сердцу домашности, приятной душе праздничности. Сервировкой столов и кухней распоряжается Нюра Кушакова. Она охотно, с гордостью за свой дом хозяйки, рассказывает мне:

— Скатерки из дома поприносили. Красиво? И посуды натащили, та, которая не так бьется... Идем-ка на кухню, раскладку посмотри. Царский ужин будет!

На кухне вызывающе приятные эмоции запахи, толкотня поварих возле котлов, котелков, кастрюль и сковород разного размера и назначения. Давно не шла в ход вся эта посуда, покрывавшаяся пылью и потиной на полках кладовых. Густо пахнет подгоревшим луком, жареным мясом и маслом. Возле раздаточного окна колдовали два наших «виночерпия», как называл их Кондратенко, да сам и назначил, сказав: «Вервейко и бухгалтерша Разоренова будут самыми подходящими в таком деликатном деле фигурами». «Но выпить-то оба не дураки», — заметил Копейкин. «Пусть, но у них два достоинства: оба очень ответственные люди, тем более в общественном деле, оба никогда не были замечены пьяными». «А что, пожалуй, верно. Им быть виночерпиями», — согласился Копейкин.

— Гена, ты кстати, — посигналил мне пальцем Вервейко. — Мы тут с Разореновой спорим: я за то, чтобы разводить спирт по-водочному, она напополам.

— А как лучше? — обращаюсь к Кушаковой.

— Валяйте пополам! — махнула рукой Кушакова. — Хватит на всех?

— Всем хватит, я рассчитала, — подтвердила Разоренова. И она, и Вервейко, похоже, чуть «причастились», но самую малость.

— Разбавляйте напополам! — даю команду.

Зал заполнился народом, уже почти все уселись за столами. Пришли и

почетные гости — Шумилин и главный инженер треста Стржалковский! Кондратенко мимоходом признался, что долго уговаривал главного инженера почтить своим присутствием вечер. «Общение с начальством, как меня поучал Никандров, никогда не вредит делу», — присовокупил при этом Кондратенко.

Вот уже между столами засновали официантки в белых кокетливых передничках и наколках на голове. Чем примечательны были наши спартанские столовки — так это официантками. Отстояв в очередях за хлебом и талонами на «первое» и «второе», мы потом, как подгулявшие купчики, получали еду из рук официанток. Были они как и мы просты, наивны и неискушенны в тонкостях застольного этикета. Они тащили нам тарелки, опуская большие пальцы в суп; они называли редкостный пудинг из манной каши путником, форшмак — башмаком, котлеты — коклетами; они не давали себя в обиду и запросто обещали «вылить суп в харю», если едок посмел высказать какое-либо замечание о их бесцеремонности и грубости. Но до выливания супа дело доходило чрезвычайно редко, мы, питающиеся в столовке, тоже не обладали должной вежливостью и знанием этикета, и за словом в карман не лезли...

Припоздавшие гости приходили в столовую облепленные мокрым снегом. С наступлением вечера пурга забушевала сильнее. Ветер выл и бесновался, хлопал дверями пустых сушильных сараев.

А в столовой светло, тепло, уютно. Просим Стржалковского открыть вечер, сказать слово. Высокий, представительный, с пышной седой шевелюрой, одетый в безупречный костюм тройку, инженер поднимается над столом, берет рюмку (только на этом столе рюмки, на других стаканы, алюминиевые кружки, фаянсовые щербатые чайные чашки).

— Дорогие женщины, — начал он. — Ваш сегодня праздник. В горькое время празднуете вы его. Но и в победное время. Наши войска гонят и бьют врага на его земле. И в этой победе — ваш труд. Слава вам, дорогие женщины! Пусть счастье придет к вам вместе с победой.

У французов, у этих самых галантных по отношению к женщинам кавалеров, есть поговорка: шерше ля фам, что в переводе на русский язык означает — ищите женщину. В любом деле французы предлагают искать участие женщины. Вот и когда придет победа нашего народа, а она не за горами, мы будем искать женщину, мы укажем на вас, милые мои работницы, и мы скажем: в этой победе ваш труд, ваш огромный и ничем незаменимый вклад.

За вас, женщины!

Зал шумел, аплодировал, звенели стаканы, женщины по-простонародному чокались стаканами, кружками, тянулись через стол, чтобы достать, расплескивали дорогую влагу, смеялись. Спирт почти мгновенно подействовал на этих изработавшихся, усталых, пребывающих в постоянном голоде людей. И сразу шум голосов беседующих слился в один

неразборчивый гул. Развязались языки, осмелели всегда молчавшие, сдержаннее стали любители поболтать.

Тосты произносили Кондратенко, Копейкин, от женщин — Мария Гребнева. Еще кто-то из мужчин пытался поздравить женщин, но ему не дали заговорить: звонкими голосами завели в одном углу зала песню «На позицию девушка провожала бойца...»; в другом конце, где женщины постарше, пели «Шумел камыш...»; ближе к столу с «начальством», где сидели наши комсомолки, выводили душевно «Дорогая моя столица, золотая моя Москва...» Поющие нисколько не мешали друг другу. А в этом песенном разноголосье с душевной обнаженной открытостью велись застольные беседы о жизни, терпеливо и сочувственно выслушивались исповедальные монологи подруг, уставших носить в своем сердце личные невзгоды и обиды от злодейки судьбы.

Занятый обременительными хлопотами распорядителя, я становлюсь невольным свидетелем и участником этих бесед и монологов. Хожу по залу, то и дело откликаюсь на приглашения:

— Геннадий, к нам подсаживайся... Да ты не торопись, ты послушай, что я хочу сказать, — тянет за рукав меня Поля Сапрыкина, пододвигая табурет. — Вот война окончится, отпустят меня на Волгу? Выйдет нам послабление, чтобы домой можно? Уволят, аль нет?

Успокаиваю, говорю уволят. Это на время войны нас всех закрепили, по десять часов работаем (и больше), без отпусков... Вынужденная общей бедой мера. А вот война окончится, все будет по-другому. Сапрыкина слушает, счастливо улыбается, говорит мечтательно:

— Хорошо у нас на Волге. Село наше на высоком берегу... Черемуха весной у самой воды... Бывало возьму коклюшки, сяду на бережку и вяжу кружева, у самой воды. Я ловко вяжу. Могу дорожку, могу подзор, что хошь свяжу тебе...

— А я крючком, — вмешивается в разговор соседка Сапрыкиной.

Пользуясь случаем, покидаю Сапрыкину. С другого стола уже слышится приглашение:

— К нам, Геннадий! Ты вот рассуди-ка нас, — это говорит Дуня Шестакова. — Вот она, — указывает на рядом сидящую женщину, — похоронку получила. Так. Теперь ее сватает один, директивник, скажем. Он и не свободный и не заключенный. Черт его знает кто...

— Он хороший мужчина, — робко возражает собеседница.

— Все они хорошие до поры до времени. Трое у тебя? Нужны они ему?

— Он детей любит, — защищает женщина кандидата в мужья.

— А если муж возвратится? Так ведь бывает, а? Что станешь тогда делать?

— Не знаю, — испуганно лепечет женщина, с ужасом глядя на беспощадную свою товарку.

... — Я ему говорю: не лезь, у меня муж есть. Погнала...

... — Вот ты сидишь с нами, в тепле, с бабами сидишь, молодой такой, красивый, здоровый, пес ты этакий,— рассуждает за другим столом взлохмаченная женщина. Рядом с нею Лукина и бригадир колонистов Лымарь. Эти слова укора он встречает ослепительной улыбкой, оправдывается:

— Я — виноват, что меня в колонну, да?.. Не верят мне, я ж из западной Украины. Вроде не свой...

— Свой ты, свой в доску! — хлопает парня по плечу Лукина. — Давай выпьем, Ефимушка.

— Ты-то в тепле, а муж мой в окопе сейчас мается, мерзнет... — тянет свое взлохмаченная, и слезы капают с ее щек в тарелку с рисовой кашей.

— Хватит нюнить! — кричит Лукина. — Гена, где музыка? Музыку давай, плясать будем. Мы — что, плакать сюда собрались?

Я привожу в зал из кухни баяниста Лешу Позднякова. Там его потчевали наши дежурные, выпить дали малость «для храбрости». Леша сел на стул, услужливо поставленный кем-то, потрогал клавиши.

— Что играть прикажете? — спросил.

— Барыню давай! — вышла на свободное место между столов Лукина. Она в красной кофте, немаркой черной юбке клеш, в ушах бирюзовые сережки. Платком взмахнула, топнула озорно ногой, обутой в мужской башмак на толстой подошве Ну-ка, кто храбрый? — прошла по кругу, дробя каблуками, остановилась, закачалась жарким телом перед Кондратенко. Тот смущенно оглянулся, словно ища защиты, но Лукина не уходила. Пришлось Кондратенко сделать круг. И вот одна за другой выходят на середину зала женщины и девушки, стукотня каблуков заполнила зал, стала главенствующей, так и подмывало пуститься в пляс. А вот и частушки 102 зазвенели, все больше про любовь, то тоской, то печалью пронизанные, то озорные и насмешливые.

Я глядел на все эти давно мне знакомые женские лица и мне сейчас казалось, что я их вижу впервые. Изю дня в день, из года в год я привык их видеть в грязной рабочей одежде, запыленных кирпичной и угольной пылью, усталых и потных, это их уравнивало, делало похожими друг на друга и на тех их товарок, что проходили иногда мимо завода в колоннах заключенных. А тут, на сегодняшнем вечере, каждая — индивидуальность, каждая сама по себе. Вот в розовом платье (как только сохранилось в чемодане под кроватью!), в немисливо как сбереженных же туфлях-лодочках, отплясывает Надя, подавальщица угля на гофманскую печь. Ладненькая фигурка, гибкая, аккуратно уложенные волосы. Надя, оказывается, жгучая брюнетка. А личико белое. А я ее видел только в брезентовых штанах и куртке, в солдатском заношенном треухе из искусственной цигейки, с запачканным углем носиком. А вот другая метаморфоза — с Валею Лохтиной, бригадиршей садчиков. В цветной юбке, сшитой из мужских галстуков (война, не до галстуков мужчинам,

сметливый женский ум нашел им применение), в бостоновой жакетке до бедер, курчавая челка на лоб. Ты смотри-ка, бригадирша-то! Всегда молчаливая, всегда чем-то озабоченная, сейчас вся охвачена общим весельем. Валя подходит ко мне:

—Станцуем?

Тут, к сожалению моему, на меня налетела Кушакова, потащила меня на кухню, «разобраться надо...» Она водила меня возле пышущей жаром огромной плиты и, гремя поварешками, крышками кастрюль, знакомила с наличием остающихся от пиршества пищевых остатков. Я давно не видел так вот, разом, столько всякой еды. Манная и рисовая каша, тушеная картошка и капуста, в свекольном соке груды винегрета, очищенная и нарезанная умело селедка, красные ломти кеты. В медных ведерных чайниках — соевое молоко и ячменный кофе.

—Что, плохо едят? — киваю на бушующий зал.

— Плохо? Скажешь тоже! — смеется Кушакова. — Едят ныне все хорошо. А мы кормим сегодня от пуза. Но тут пища остается. А чтоб она не ушла куда не нужно, я предлагаю остатки, как только вечер пройдет, раздать детным матерям. Ты спроси у директора, как он?

—И спрашивать нечего! Отдавай все многодетным.

В тот вечер я много танцевал. Леша играл вальсы, польки, румбу и фокстроты, и все плясали, как умели. А я почти не умел. Я весь был поглощен тем, чтобы не оттоптать ноги очередной даме. Кавалеров мало и мужчины нарасхват. И чинного Стржалковского вытянули работницы из-за стола и заставили пройтись. Он умело вел даму, чуть чопорно, по старомодному красиво, вызывая восхищение женщин:

—Вот что значит ученый-то человек.

—Инженер. Они ведь и танцам обучались...

—И как ручку дамам целовать...

Невольно смотрели на свои красные, покрытые мозолями руки и вздыхали. И во вздохе этом, в улыбках чувствовались затаенная боль, обида, печаль. Эти боль и печаль читались и в глазах моих партнерш по танцу, хотя все они делали мужественные усилия не показывать эту боль.

К полуночи столовая стала пустеть. Я уже проводил несколько пожилых женщин до дому. А на улице пурга свирепствовала вовсю, валила с ног прохожих, забивала рот мокрым снегом. Давно исчезли тропки в снежных сугробах. С трудом преодолевая порывы ветра, я поднимался на ступени крыльца столовой, когда на меня почти упала сверху женщина, обхватив плечи руками.

— Кто такой? — спросила она пьяным голосом. И я узнал Надю.

— Геннадий? — успокоено произнесла она, и добавила капризно:— Проводи-ка меня домой, а то замерзну... отвечать будешь... смотри... — пугала с игривым смешком Надя.

Взял под руку, повел.

—Я в пятом бараке живу...

Знаю в каком ты бараке живешь, Надя. Месим снег, бредем почти вплавь. В иных местах снег по пояс... Вот и барак пятый, сквозь обледенелые стекла некоторых окон пробивается слабый свет. В темном неосвещенном коридоре кислый запах заношенной рабочей одежды, карболки, самосада — обычный барачный букет запахов, напоминающий о бедности быта, нищете его обитателей, людской нехорошей скученности, когда ты всегда, постоянно, ежечасно на глазах и слуху живущих с тобой. В коридоре Надя обретает трезвую устойчивость, она предупреждает:

— За мной иди, тут корыто повешено, загрохочешь, людей побудишь...

Перед нами открылась дверь комнаты Нади, щелкнул выключатель. Комната была опрятной, ухоженной. Половички на крашеном полу, цветок герани на тумбочке, над узкой железной кроватью, заправленной лоскутным одеялом, традиционный коврик с изображением неперменных лебедей и зубчатой башни средневекового замка. Я взглянул на хозяйку, конечно же, она не пьяна, чуток навеселе.

— Спасибочки, что довел в сохранности, — с иронией говорила Надя, снимая с головы шерстяную шаль, плюшевую жакетку, надетую не по сезону, ради праздничного вечера.— Ты садись, что мнешься у дверей.

— Мне в столовую надо, дела там...

— Обождет твоя столовая, там люди есть, садись, чаю сейчас вскипятим, — Надя опускает кипятильник в чайник.

— Нет, я пошел, — говорю я, испытывая неловкость от того, что обижаю Надю наверно. — Нужно идти... нехорошо...

— Что — нехорошо-то? Со мной побыть? Ну и мужик нынче пошел, прости, господи! — Дернула плечом женщина, покривив презрительно губы. — Ладно уж, валяй, не держу. — И стала, не обращая на меня внимания, разбирать свою девическую постель.

— Спокойной ночи, Надя...

— Иди, иди, спокойной ночи... Нужна мне, спокойная... Тоже мне, теленочек нашелся! — донеслось вслед злое, обидное.

Уязвленный, раздосадованный возвращался я в столовую, не разбирая дороги. Откровенное презрение женщины жалило сердце, как может жалить в таких обстоятельствах сердце тридцатилетнего мужчины. Мелькала мелочная мыслишка: может вернуться? Ну нет! После такого провожания... Да и зачем? Ради дурацкого самолюбия?

В столовой я застал Кушакову и Валю Лохтину. Они прибирали со столов посуду, выметали мусор. Кушакова сунула мне веник в руки: мети. Уже за полночь мы втроем покинули притихшую столовую. Я помог донести Кушаковой судки и свертки с доставшимися ее ребяташкам угощениями с праздничного стола.

А потом я провожал Валю. Мы долго стояли в таком же темном, пахнущем теми же знакомыми запахами, барачном коридоре, и

прислушивались к буйству пурги на дворе. Мы обменивались незначительными фразами, оба чувствуя растущую и радующую нас близость. Было в коридоре холодно и я грел похолодевшие пальцы девушки в своих ладонях.

— Надо идти... — осторожно высвобождая руки, говорила Валя. — Поздно уже.

— Подожди...

— Надо идти... — настойчиво повторила девушка.

Я шел по поселку, давно погасившему огни. Я, наверно, один не спал в эту метельную ночь последнего реванша долгой и трудной победной зимы.

ГОЛОД



Сидорова Зина - сушильщица кирпича

За годы войны люди стали бояться наступления весны, не радоваться, как искони, а бояться. С весной приходил настоящий затажной голод, тот голод, когда человек чувствует себя заболевшим тяжелой, неизлечимой болезнью, а лекарств против нее — никаких... Это, наверно, происходило не только потому, что истощались и те жалкие запасы продуктов, какие имелись на общественных складах и в личном пользовании людей в виде ведра проросшей картошки под топчаном в бараке, но и потому, что из организма за зиму вымывалась и так недостаточная порция полученных за лето жизненно необходимых человеку витаминов. К такому выводу я пришел по личному опыту. С наступлением весны у меня часто кружится голова, плывут мушки перед глазами, пустой желудок непрерывно напоминает о себе, и как бы ты не отгонял мысли о еде, они возвращались в самые неподходящие моменты. Если я, молодой человек, не обремененный семьей, получающий на одного, хотя и испеченного пополам с кукурузой и овсом, два фунта хлеба, испытываю такое, то что же тогда переживает Нюра Кушакова с ее ребятишками, начинающими утро со слов: «Мам, есть хочется...»

Апрельское солнце растопило снег, обнажило землю, но в тени под

крышами сушильных сараев он лежал почерневшими ноздреватыми сугробами, из-под подошвы тех сугробов бежали ручейки талой воды, превращая дороги и тропки в клейкую массу. Самое противное время для кирпичников — время таяния снега. Размягченная глина, на которой построен завод — дополнительная беда, доля кирпичников. Повытаскивай-ка целый день ноги из тягучей, как резина, глиняной массы, попрыгай-ка, выбирая место посуше. Вот и сегодня утром, пробираясь к будке, где вчера разгрузили капусту, я остановился перед лужей, соображая как ее ловчее преодолеть. Из-за будки вышла группа женщин, впереди Кушакова.

— Гена, а где Степан Кузьмич? — крикнула Кушакова. — Обещали капусту давать...

— Тут я, тут, не шуми, девка, — отозвался Степан Кузьмич. — Сейчас отопру будку. Весов у меня только нет. На глазок выдавать? — взглянул на меня вопрошающе.

— Выдавай кочанами, картошу посудиною какой, — посоветовал я.

У дверей будки выстроилась очередь женщин. Подошла Еремкина с бумажным мешком из-под цемента. На нее тяжело было смотреть. Испитое, опухшее от недоедания скуластое лицо ее с щелками глаз искривлено в застывшей плаксивой гримасе. Одета в грязное тряпье, отдаленно похожее на одежду, на ногах намотаны тряпки и сунуты они в рваные галоши. На Еремкину накинута одна из стоявших в хвосте очереди женщин. Она громко начала отчитывать несчастную Еремкину.

— А ты что приперлась? Тут детные, а ты куда прешься? Капустки захотелось! Не хватит на тебя... Да не давайте ей ничего. Дите в детский дом отдала, не работает, сама путается... Тьфу ты, прости господи!

— Есть дите! Сама сука! — зашлась в дурном крике Еремкина. — Солдатка я, шкура ты проклятая... — свою характеристику противнице Еремкина сдобрила похабными ругательствами.

Я опасался, что словесная перепалка может перейти в драку. На выручку пришла Кушакова. Она стала успокаивать противниц, защищать Еремкину:

— Ну, что вы на нее, бабы... Человек и так не в себе. Ну, разве виноватая она, бабы? Раз в человеке силы нет никакой, ослабла она, падает совсем, а вы толкаете...

Услышав такие слова о себе, Еремкина заплакала навзрыд, лицо ее стало еще безобразнее. Бабы взяли из ее рук мешок, наложили туда картошки, капусты. А она все плакала. И все мы вдруг почувствовали и поняли, что эта женщина уже наполовину неживая. Мы это почувствовали и поняли, потому что за долгие годы войны научились различать печать смерти на лице человека, на всем его существе, голосе, походке.

Я помогаю Кузьмичу отпускать капусту и картошку. Ох уж эта капуста! Она всю зиму пролежала в каком-то холодном складе, замороженная насквозь. Сейчас начала на апрельском тепле оттаивать, верхние

почерневшие листья слизью снимаются с потемневшего кочана.

— Что тут есть! — вырывается у меня. От одного вида капусты спазмы в голодном и неразборчивом моем желудке.

— Не скажи, Геннадий, — возражает Кузьмич. — Ежели голод — все умнешь. Я в тридцатом глину ел... Было дело... А тут капуста, на щи пойдет, из картох трахмал добыть можно, тоже харч.

— Крахмал надо... — вежливо поправляет старика одна из женщин.

— Знаю что надо. Учишь... Ученого учить — только портить, — ворчит беззлобно Кузьмич.

Еремкиной отпустили капусты и картошки, она пошла с мешком на плече, пошатываясь на больных ногах. Никто больше не смотрел в ее сторону, каждый занят своими мыслями и заботами.

— Капусту есть можно, — убежденно говорит Кушакова. Она получила свою долю, но поджидает товарку, соседку по бараку, тоже многодетную солдатку Вергазову. Больны ноги у Вергазовой, надо ей подмочь, не донести ношу одной.

— Ее, капусту, надо только в холодной воде подержать, а то она так в кисель вся превратится. А потом в кипяток сразу, да подсолить хорошо.

— Да мяска положить, — ввернула остроязыкая почтальонша Маня, давно прозванная на поселке вестником смерти. Сколько она разнесла похоронок, сколько слез выплакали бабы на ее тощую грудь. Хоть и любит подначить Маня, но не злой она человек, душа нараспашку, а потому не обижаются на нее.

В разговор о пище включаются разом все женщины, ухитряясь и выслушать, и высказаться.

— В начале тридцатых голодали, помню... — говорит одна.

— А когда мы не голодали?

— Так вот, голодали говорю в тридцатых, — продолжает рассказчица, — мы собирали конский щавель, мать месила с мучкой чуть-чуть, а то с крахмалом, лепешки пекла. Спасались.

— Листья одуванчика едятся...

— К ним бы сметанки!

— Скажет тоже...

— А щи из щавеля? Бывало весной выйдешь на полянку, ляжешь на землю и смотришь: где верхушки щавеля-кислицы, бежишь туда.

— А мы весной свечки еловые ели. Вкусны!

— В нашей деревне почитай каждый год хлеб с лебедой пекли, да еще с осиновой корой...

— Тут, на Дальнем Востоке, черемша хорошо родится. Очень полезная. У меня и сейчас немного сохранилось, соленой. Детям даю, как лекарство, от цинги.

— От цинги хорошо. От цинги шульга еще помогает, из пихты отвар.

Я слушаю женщин и думаю о том, как много и часто голодает наш народ,

такой трудолюбивый, располагающий большой культурой земледелия, плодородными, прямо-таки необъятными землями. И до революции голодал, и сейчас голодает. Ну теперь хоть война, а в тридцатых?.. Только голодное отчаяние заставляет людей есть все, о чем сейчас так, почти с умилением, рассказывали женщины, есть вот эту противную осклизшую капусту и полусгнившую картошку. И до революции и после нее по стране бродили многие тысячи нищих. Они ходили по деревням и хуторам, по улицам и базарам городов. Нищий был непременным атрибутом нашей социальной жизни. «Подайте милостыньку Христа ради...», — привычно и устало тянули женские и детские голоса, голоса стариков. «Подайте, кто сколько может...» Из бесконечной вереницы нищих, виденных мною, запомнилось темное, словно из мореного дуба, вырезанное длинное лицо высокой исхудавшей женщины, пришедшей за милостыней в наш дом. За грязную ее юбку держались ручонками двое ребятишек. Она произносила только одно слово: «Подайте...» Мать, с ее жалостливым сердцем, всплакнула, глядя на несчастную троицу. «За что такое человеку?» Она скормила большую часть нашего, тоже нищенского, дневного рациона, дала с собой картошки. А женщина, малость восстановив силы и обретшая способность говорить, поведала монотонно заучено: «Засуха... земля потрескалась... яйцо сунь — испечется... Был хлеб, в разверстку взяли... Хватило бы хлеба до нового... Разверстка... до зернышка... Мужики против... заарестовали моего, не вернулся...»

Мимо будки проходила с бидончиком курьерша Мотя, с любопытством поглядывая на очередь.

— Эй, Мотя! — крикнула Кушакова. — Тащи сюда молоко!

Мотя в нерешительности остановилась.

— Ну что стоишь, иди сюда. Вон у Вергазовой младшенький заболел, молочка бы. А Мотя к управляющему трестом несет молоко, — обратилась ко мне Кушакова. — А у него и так брюхо толстое.

— Не могу! — замотала головой Мотя и двинулась дальше. Приостановилась: — Не могу, — повторяла, испуганно оглядываясь, — начальство.

— Откуда у нее молоко? При чем тут управляющий? — озадаченно спросил я Кушакову. Ответил Степан Кузьмич:

— Ты разве не знаешь? Еще два месяца назад на завод корову привели из подсобного хозяйства. А Мотю приставили ухаживать и доить, молоко в город на квартиру управляющего носить.

Я представил себе дородную фигуру раздобревшего управляющего Барского, такую же дородную и капризную жену его, сопоставил их с вот этими истощенными бабами, измотанными непосильным мужицким трудом, и мне стало нехорошо, будто я пью это молоко, отнимаю от детей. Ну к чему Барскому это молоко? Умрет он что-ли? Ему «положено...» — часто говорят в подобных случаях, а детям разве не положено! Им-то

положено в первую очередь.

Наконец очередь растаяла, женщины разошлись, таща мешки. Капуста еще оставалась, оставались и люди, нуждающиеся в ней. Кузьмич, готовясь закрыть будку, кивнул в сторону кучи капусты, сказал:

— Не возьмешь капустки?

— Ты что, Кузьмич!

— А что? Есть-то всем надо... Оно, конечно, капусту тебе не приготовить, холостому-то, — он понизил голос: — А может, рыбки? Есть на складе. Ты ведь ни разу не пользовался. Другие-то брали.

Я решительно отказался от рыбки. Но при этом, признаюсь, мне пришлось подавить подленькую мыслишку насытиться. И никто не узнает... Ах, это — никто не узнает! Оно лежит в основе каждого преступления. Никто? А ты сам? Неправедная пища будет потом жечь мои внутренности и душу мою. Измена себе не забывается никогда, она навсегда остается с тобой и тобою же прощается, если, конечно, признается за измену.

На завод приехал Мирон Вербенко. Ему как и мне тридцать, но выглядит он куда солиднее меня. Он ухожен, одет в модную в те времена для должностных лиц кожаную куртку. Мирон до войны, после окончания института, начинал работать на нашем заводе, дослужился до поста директора. Во время войны взят на повышение в трест. Сейчас — парторг ЦК в нашем стройтресте. Мне нравился этот человек, мой сверстник, нравился за прямооту и честность. Может быть портила его последнее время замечаемая мною служебная правоверность, непрременная спутница равнодушия к конкретному человеку, к его боли.

— У меня письма есть, — говорил Мирон, — из горкома переслали... Проверить надо. Солдаток касается. Пойдем-ка со мною, походим по баракам.

Бараки, бараки... За четыре года войны обветшали они, обшарпались, покосились крылечки, прохудились крыши, в дождь в любой комнате ведра и тазы расставлены для улова воды. Поосели опилки в засыпных барачных стенах, и зимой в комнатах замерзает вода, а малые ребятишки не слезают с кроватей, закутанные в тряпье. В редкой комнате чисто вымытые полы, а чаще запущенные, черные от грязи, с прогнившими половицами-клавишами, прогибающимися под ногами. Голод, нищета, отчаяние всегда сопровождается равнодушием к быту: «Пропaday оно все пропадом!». Не замечаются грязь, разбитые стекла в окнах, обвалившаяся штукатурка, разваливающаяся печь, паутина по углам, скопище клопов, набрасывающихся на человека с наступлением темноты. Клопов так много, что борьба с ними мало результативна. Летом все население бараков в теплые дни спит на улице, устраиваясь на деревянных тротуарчиках. Тогда клопы ринулись сюда, обосновавшись в щелях тротуаров и продолжая

терзать население поселка.

Одно из писем касалось солдатки, матери четверых детей Вергазовой. Мы нашли ее в самом ветхом бараке, попасть на житье в который все боялись. Сооруженный из самана в первый год строительства города, он покосился, угрожающе провисли потолки, еле держащиеся на прогнивших балках. Темный коридор, кислый удушливый запах. Я заметил, как Мирон поежился, входя в это зачумленное помещение, мало похожее на человеческое жилище. В просторной комнате обитала Вергазова с ребяташками и престарелой матерью. Комната казалась просторной из-за пустоты. Мебели: две кровати, стол, несколько табуретов. На черной от сажи плите — убогая утварь. Мать Вергазовой лежала на кровати и тихо стонала, сама хозяйка сидела посередине комнаты на табурете, окруженная детьми. Самый маленький непрерывно ныл, всхлипывая:

—Мам, есть хо-о-очу-у...

Постарше дети молчали, наученные горьким опытом: слезами и мольбой делу не поможешь. Мать и сама голодна. Увидев нас, Вергазова не удивилась ничуть, продолжая безучастно молчать.

— Здравствуйте! — проговорил Вербенко, чувствуя, видимо (по себе сужу...), страшную неловкость, неуместность своего появления в этой скорбной комнате, комнате-пещере, таким цветущим, здоровым и не голодным.

Женщина с тупым равнодушием взглянула на гостя и промолчала. Малыш, перестав плакать, уставился на нас широко раскрытыми глазами. С кровати донесся слабый голос старухи:

— Здравствуйте, добрые люди... Вы проходите. Стеша, дай гостям стул. Вы уж простите ее, совсем замучилась с детьми... Да я еще тут, прости господи, никак смерть не берет.

Старшая девочка поднесла нам два табурета. Мать ее продолжала молчать.

— Товарищ Вергазова, от вас поступила жалоба в военкомат, — начал Мирон. — Письмо переслали в партбюро треста. Бюро распорядилось, чтобы вам оказали помощь. Вот пришел проверить...

Товарищ Вергазова болезненно поморщилась, с трудом разжала губы, хрипло проговорила:

— Нету помощи... Никакой. Вот... — положила крупную ладонь работницы на лохматую головку малыша, сразу зашмыгавшего носом.

— Рыбу дали... — слабый голос с постели.

— Рыбу! — вдруг встрепенулась Вергазова, вскочила, кинулась к плите, загремела крышками кастрюль, выхватила из одной тощего лещика с проступившей солью на ребрах и, потрясая рыбешкой перед нашими озадаченными лицами, запричитала:

— Вот она, рыбка! Соль гольная. И кость. Три кило... Детей накормишь?

— Подождите, но при мне вам отправили талоны на дополнительное

питание! — вскричал Мирон. — Это все-таки на первое время...

— Тут у меня ваши талоны, — вытащила из кармашка передника белые талончики Вергазова, положила на стол. — Ходила в столовку к Скулкиной, прогнала меня. «Нет продуктов для тебя», — говорит.

Я вижу, как покраснело от гнева круглое смуглое лицо Мирона, на лбу вздулась и знакомо запульсировала жилка.

— Ну и сволочь! Пойдем, Геннадий, — он взял со стола талоны, сказав Вергазовой: — Вы возьмите сумку и приходите в столовую.

Чуть косолапя, Вербенко быстро шагал к столовой, стоявшей в полусотне метров от барака, нами покинутого. Мирон взошел на высокое крыльцо, ведущее прямо на кухню, рванул дверь. Перед нами возникла фигура рыжеволосой официантки Дуси. Она так и замерла, увидев высокое начальство из треста.

— Скулкина здесь? — отрывисто бросил Мирон, идя по коридору.

— Тута, тута, — услужливо закивала официантка. Из-за дощатой перегородки слышался визгливо-недовольный голос Скулкиной:

— Кто там шляется по служебному ходу? Написано же: «Посторонним вход воспрещен!».

— А мы не посторонние, — заходя за перегородку, проговорил Мирон с веселой угрозой. Сел за стол, отодвинул рукой бумаги, положил перед Скулкиной талоны.

Как только началась война, Васса Скулкина, пятидесятилетняя крепкая еще женщина, работающая в столовой поварихой, заняла должность заведующего производством. Был до этого мужчина, ушел на фронт. Хитрая, изворотливая, умеющая подластиться к начальству, Васса стала почти единовластно ворочать всеми делами столовой. Сколько перенесла она проверок на разных уровнях и всегда выходила при самых критических ситуациях сухой из воды. Она знала тысячи уловок, помогающих ей тащить из столовой что попало под руку. Сотрудников своих держала в железном кулаке, связав круговой порукой, изредка подбрасывая им от «щедрот своих». Знаю, и сейчас она выкрутится, старая стерва. Лицо Вассы, в сетке мелких морщинок, оживлено масляными мышинными глазками, источающими радость при виде нас.

— Вам талончики отоварить? Мирон Демидович, да мы это мигом. Тамарочка, подь-ка сюда!

Вошла пышнотелая молодая бухгалтерша Тамара.

— Тамарочка, возьми талончики и прикинь: каких и сколько продуктов надо отпустить. Да быстренько у меня...

— Продукты есть? — осведомился Мирон.

— Для вас всегда найдутся, а как же! — поспешила заверить Скулкина, но прикусила язык, видя, как грозно нахмурился Мирон.

— А для солдатки Вергазовой не нашли?

— Так ведь тогда не было, когда она приходила. Рыба-лещ соленая... —

заюлила Скулкина. — А вчера подвезли.

— Зовите Вергазову,— распорядился Мирон. Рыжая официантка метнулась выполнять приказание.

Надо было видеть, с каким благоговением смотрели на рис, лярд, сливочное масло, балык Вергазова и ее десятилетняя дочь. Скулкина сама отвешивала на чашечных весах и сыпала в подставляемые кульки и мешочки. Точно вешала под пристальными взглядами собравшихся на кухне людей. Вергазова дрожащими руками укладывала продукты в холщовую сумку и все приговаривала:

— Спасибо большое, спасибо большое, милые вы мои...

На улице Мирона поджидала повозка. Усаживаясь в двуколку, он говорил:

— Большая стерва эта Скулкина.

— Мы сколько раз подавали на нее акты, толку никакого,— говорю я. — Ни постройком, ни ОРС мер не принимает.

— И не будет толку,— мрачно отозвался Мирон. Жилка на лбу набухла, запульсировала. — Там, брат, такое хитросплетение, будь здоров, не кашляй! Жулик жулика прикрывает. И каждый под чьим-либо крылышком. Но воевать надо. Ты вот устрой Скулкиной хорошую ревизию, я поддержу.

Я проходил мимо барака, где жила семья Вергазовой, взглянул в окошко, начинающееся почти от самой земли. В комнате солдатики весело пылал огонь в печи. Сама она священнодействовала за столом, готовя ребятам еду. А они обступили стол и с вожделением смотрели на невиданные продукты. Больная мать уже сидела на кровати и, счастливо улыбаясь беззубым ртом, что-то говорила дочери.

В моем кабинете письменный стол, залитый чернилами. У стены продырявленный диван с высокой спинкой. Здесь я бываю редко, чаще утром забегаю на несколько минут. Бумажных дел у меня мало. Здесь я принимаю «по личным вопросам». Правда, личные вопросы мне чаще задают просто в цехах, на Амуре, где мы пилим дрова, в столовке, в очереди в кассу, в клубе, во время просмотра документальной хроники. И в кабинете бывают каждый день по несколько человек. Сегодня первым появился Служеникин. По номенклатурной привычке заходит запросто, разваливается на диване, вытаскивает потом из кармана нагольного белого полушубка бумажку, кидает на стол:

— Гроб нужен.

— Кому?

— Еремкина сыграла в ящик, — с нехорошей улыбкой скаламбурил Служеникин. — Ты пошли-ка кого-нибудь, чтобы все сделали, похоронили. У нее — никого.

В этот день еще двое пришли с заявками на гробы. Умер ребенок и старик-колонист. Я всегда испытываю смятение при виде умершего человека. Да и кто не испытывает такого смятения. Я беру с собой

Кушакову, чтобы побывать у Еремкиной, определить, что надо делать. Мне уже не раз приходилось в таких вот печальных случаях прибегать к помощи мудрой Кушаковой, покоряющей меня своей жизнестойкостью и мужеством. Я признавался ей в своей слабости и растерянности при виде мертвого тела. Она меня успокаивала: «А вы все, мужики, такие: боитесь мертвого. Баба, она крепче в таких делах. Она, баба, всегда рядом с жизнью и смертью. По краешку всегда ходит...»

Еремкина жила в новом бараке, который перед самой войной построили себе бойцы военного корпуса, работавшие в цехах завода. Он был заселен наполовину, нечем заселять стало... Комната Еремкиной, казавшаяся большой из-за почти полного отсутствия мебели (в углу — железная кровать), наполнилась гулкими звуками наших шагов и голосов. В комнате два санитаря прибывшей из города «скорой помощи» укладывали на брезентовые, с пятнами засохшей крови, носилки тело Еремкиной. Накинули на лицо ее, багровое, обезображенное болью, какую-то серую тряпку, валявшуюся на полу. Потом, тихо ругаясь меж собой, вынесли мертвую из комнаты, оставив нас вдвоем.

— Жил человек! — горестно вздохнула Кушакова.

Действительно... Железная узкая кровать, на досках ее тряпье, ни одеяла, ни подушки. Под кроватью рваный засаленный ватник, которым хозяйка комнаты укрывалась на ночь, а днем надевала на себя. Возле почерневшей от сажи печки некрашенная тумбочка. На крышке тумбочки горсть черного подгоревшего зерна. Кушакова трогает котелки на плите. В одном черная застывшая масса на дне. Она нюхает, трогает массу пальцем.

— Зерно варила Еремкина. Вчера, наверно... — тихо промолвила, вздохнув. — Зерно со склада...

На берегу Амура, по соседству с кирпичным заводом, располагались склады речников. Под новый год на одном из складов случился пожар, несколько тонн пшеницы подгорело. Пожар затушили, часть зерна спасли, а часть, сильно подгоревшего, отсыпали на улицу. Его и растаскивали женщины и дети. Все какая-то пища... Зерно завозили летом из США. Небольшие морские суда поднимались по Амуру до самого Комсомольска. С разгрузкой спешили, грузчиков всегда не хватало, а потому охотно привлекали женщин и подростков с поселка. Им почти не платили. По молчаливому соглашению каждый мог, если сумеет, унести домой горсти две, а иногда и целый килограмм зерна, припрятав его в укромном месте... Обычно на выгрузку ходили в лыжных костюмах, так что женщины уходили домой заметно потолстевшими. Охрана равнодушно взирала на это, лишь иногда, при начальстве высоком, проводя выборочный досмотр, заканчивающийся отеческим внушением провинившемуся со стороны заведующего складом.

Пересыпая черное зерно, Кушакова вспоминала:

— Я несколько раз ходила со старшей на разгрузку. Наломаетесь за

день, зато домой зерна принесешь. Мне Рыжкин мельницу сделал железную, намелю, лепешки пеку. А то просто кашу заварю. Многих на поселке это зерно сильно поддерживало, может, кого и от смерти спасло. Но вот это зерно, обгоревшее, вредное, по-моему, и керосином пахнет. Может, от него Еремкина и скончалась?..

В углу комнаты валялась кукла, сделанная из тряпок. На плоском лице улыбающийся рот, точки-глаза, палочка-нос, нарисованные чернильным карандашом. Кукла, как мне показалось, удивительно похожа на Еремкину. Эта трогательная самодельная игрушка напомнила мне о недавнем событии. В заводском клубе состоялся суд над Еремкиной. Ее лишили материнства за то, что она, по свидетельству соседей по бараку, плохо ухаживала за своей четырехлетней дочкой, часто съедала ее дневной паек — триста граммов хлеба. Еремкина к тому же таскала дочку по всяким организациям и учреждениям, выпрашивая какую-нибудь помощь. Это многих возмущало, и потому с удовлетворением было встречено решение суда забрать дочь у Еремкиной и передать в детский дом. А Еремкина рыдала, голосила, и никто тогда всерьез не воспринимал горе матери, глуповатой, испуганной жизнью женщины. А дочь свою это безобразное существо любила искренне. Она каждый день плакала под окнами детского дома, кричала: «Отдайте дочку мою, сволочи!». Она не понимала: зачем суд был, какие такие законы на свете, не понимала, зачем отобрали ребенка. Она не понимала, зачем она живет вообще на этой страшной земле, среди злых и непонятных людей. До войны она жила под опекой мужа, тихого и покладистого увальня, лучшего катая на заводе. Жenu и дочку, только родившуюся, любил. Но война отняла от Еремкиной мужа, дочку, отняла все. А вот сейчас отняла и жизнь. Размышления над горькой судьбой этой потерянной женщины угнетали меня. Хотелось поскорее покончить со всей этой печальной процедурой предания человека земле.

— Может, дочку взять на могилку? — тихо спросила Кушакова.

— А стоит расстраивать ребенка?

— Стоит, — твердо и строго сказала Кушакова. — Какая-никакая — мать!

Прибирая комнату, Кушакова нашла на подоконнике нераспечатанное письмо с фронта. Письмо свежее, Еремкина еще не успела узнать, что пишет муж. Она была неграмотной и обычно просила кого-нибудь почитать. Не успела... Я подержал в руках скромный треугольничек, свернутый из тетрадного листка в клетку. Вопросительно взглянул на Кушакову.

— Прочитай, чего уж... — разрешила Кушакова.

Я развернул треугольничек. Крупными буквами, выведенными непривычными к карандашу пальцами, муж сообщал своей Настасье Макаровне (оказывается, была она Макаровна...), что война идет к концу, что ихняя часть уже в Германии, что «даем немцам прикурить». Пишет,

чтобы дочь берегла «пуще глазу», что гостинцев он обоим привезет.

В столярке вкусно пахнет клеем, стружками, весело пылает огонь в большой плите. Старый столяр Рыжкин сколачивает гроб для Еремкиной и философствует:

— Все там будем... Вот внучка школьница надясь прочитала мне Пушкина стишки. Там такие строчки есть: «И чей-нибудь уж близок час...»

За годы войны Рыжкин изготовил многие десятки гробов и приобрел в этом печальном деле определенные навыки. Он и наставлял заказчиков как соблюсти похоронный обряд. Слушали его почтительно, ведь в те времена этот обряд считался вредным и ненужным предрассудком. Умер, зарыть его, а лучше сжечь, чтобы не допустить инфекции. А люди не хотели согласиться с кощунственной поговоркой «Мертвым телом хоть забор подпирай».

Рыжкин предложил сделать для Еремкиной памятник-пирамидку. Кушакова настояла: пусть будет крест. Сколотил крест.

Хоронили на другой день. Опустили некрашенный гроб в мерзлую землю, зарыли. Весной земля осядет, поправлять могилу некому, крест сгниет и упадет, и сотрется всяческая память о бедной, никому не нужной Еремкиной. Двое колонистов, оправив холмик, закурили. Я написал химическим карандашом на кресте: «Н. Еремкина. 1920—1945 год».

Таковыми крестами, деревянными пирамидками со звездой и без, покрыта вся территория разросшегося за войну кладбища. В этом унылом и бедном прибежище мертвых кричаще нескромно выглядел высокий гранитный обелиск, мрамором выложенная могила, заваленная венками искусственных цветов. И еще стояли четыре кадки с замерзшими пальмами... Здесь была похоронена недавно скончавшаяся жена весельного начальника Амурлага генерала Петренко.

Я и колонисты, закончив с могилой, направились было к повозке, где нас ожидал кучер Тимаев. Неожиданно послышалась грязная ругань. Я обернулся. У свежего холмика могилы Еремкиной корячился ражий мужик в полушубке, синих галифе, белых фетровых валенках в галошах. Он яростно раскачивал крест, пытаясь вытащить его. Это было до того дико и необъяснимо, что я подумал: «Пьяный? А может, рехнулся?». Я побежал к ражему мужику, крича:

— Остановись, что ты делаешь!

Пока я добежал до могилы, мужик уже вытащил крест и отбросил его далеко в сторону. Ражий круто, по-волчьи, повернулся ко мне и взглянул на меня белыми от злости глазами ката. Взгляд его я запомнил на всю жизнь. Взгляд ненависти, даже радостной какой-то ненависти, от которой слабли руки, немели ноги. Такие вот ражие молодцы рвали ноздри и выворачивали суставы в петровских пытошниках. О том не раз читал я в исторических романах. Не знал я в ту пору, что и в сороковых годах, в советское время такие ражие продолжали зверствовать, только еще в больших масштабах...

— Ты закопал тут свое дерьмо! Вот заставлю руками выкопать, — заорал он, брызгая слюной. — Как врежу меж глаз, падла! — наступал он на меня.

И врезал бы. Но за спиной моей встали трое подоспевших мужчин. Ражий отступился, пересыпая речь свою матерщиной. Откуда-то появился заведующий кладбищем, щуплый человечек в ушанке. Он зачем-то снял ушанку, обнажил лысину и заискивающе проговорил:

— Что изволите гневаться?

— Бить тебя надо, гнида! — набросился на заведующего ражий. — Тебе товарищ Петренко что приказали, мозгляку?

— Чтоб на расстоянии тридцати метров от могилы его жены... — начал, заикаясь, заведующий.

— А тут сколько?

— Ну... почти... земля была талая... — оправдывался заведующий.

— Талая... Чтоб убрать могилу! Я проверю, — угрожающе предупредил ражий, уходя.

— Уберешь? — с возмущением спросил Тимаев.

— А что делать? — обреченно ответил заведующий, не надевая шапки. — Петренко — сила! Мигнет — и нет меня. И в лагерь закатает. Его и в горькоме бояться.

— Аллаху надо бояться, — заметил Тимаев.

— Аллах далеко, а Петренко — вон он, — указал заведующий на монумент в окружении мороженных пальм.

По пути домой мы с Тимаевым отпустили колонистов с повозкой, а сами завернули на базар, что разбросал свои убогие ларьки, магазинчики, шаткие столы-прилавки на берегу Амура. Место это до войны служило жителям молодого города для проведения торжеств, митингов и шествий. Когда-то и я вышагивал в колонне босоногих физкультурников и кричал «ура!» в ответ на приветствия с трибуны.

С наступлением войны праздники не проводились. Здесь, на этой площади, только торговали. Я всегда удивлялся неистощимой фантазии и изобретательности людей, находивших предметы, имеющие хоть какую-нибудь потребительскую ценность. Предлагали настойчиво и крикливо старое платье, поношенную обувь; целый угол базара занят всякой мебелью, рисованными на клеенке коврами с неизменными лебедями, русалками, башнями. Продавали махорку спичечными коробками, по пятнадцать рублей за коробок, рулончики газетной бумаги для «козых ножек». Но, конечно же, основным товаром считалось любое съестное. Продавали хлеб, рыбу, картошку, молоко, черемшу, кедровые орехи, котлеты из сои и картофеля. Все стоило баснословно дорого. Люди привыкли к астрономическим цифрам и не удивлялись, если за кетину брали триста рублей.

Мне нужен был хлеб. Вчера я обнаружил в летней спецовке четыреста

рублей. Как я забыл про них осенью, получив зарплату, не мог припомнить, на что их отложил. Деньги были не особенно в ходу. Теперь я мог их истратить. С утра страшно хочется есть, а хлеб по карточкам я забрал вперед. На обед я опаздывал, хороня Еремкину. Да и ужин условен: тарелка супа. Я высмотрел в руках красномордого парня в солдатском бушлате буханку белого, так называемого амурлаговского хлеба. Белый хлеб и булки городские пекарни перестали выпекать еще за два года до войны. В Амурлаге пекли для «элиты». Я остановил красномордого.

— Пол косой, — буркнул парень, не выпуская изо рта папироски.

— Милый, дорогой, а дешевле? — с упреком сказал Тимаев.

— Ищи дешевле, — посоветовал парень, хотел идти дальше, но вдруг, решив что-то в уме, спросил:

— Твоя цена?

— У меня четыреста, — сказал я.

— Твоя, — сунул мне буханку парень, небрежно взяв из моих рук деньги и, не считая, сунул в карман.

— Этот из Амурлага, я его часто на базаре вижу, — говорит Тимаев. — Он этих буханок много продает. Пайки у амурлаговской службы большие, да и карабчат мало-мало. Живут люди! — с искренней завистью заключил Тимаев.

Вечер опустился на наш поселок, когда я, завершив дневные дела, уселся пить чай. Предвкушая пиршество (вот бы масла!), отрезал от румяной буханки горбушку, налил жестяную кружку чая. Не успел съесть полгорбушки, дверь приоткрылась и в щель просунулась голова соседкиного парнишки-шестилетки. Глаза его разгорелись при виде белого хлеба. Он деликатно, по-взрослому, осведомился:

— Белый?

— Да вот, — говорю, — Хочешь?

— Можно кусочек, — подумав, неторопливо согласился парнишка. Я был восхищен выдержкой этого маленького мужчины. Он без суеты принял кусок и чинно удалился. А через некоторое время дверь снова приоткрылась и на этот раз показалась в просвете мордочка младшей сестры парнишки. Не ожидая вопроса, я и эту наделил куском, отрезанным, не скупясь.

Когда дверь открылась в третий раз, я инстинктивно и не без некоторого, каюсь, сожаления бросил взгляд на половинку буханки... В комнату косолапо ввалился Бабушкин.

— Чаевничаешь? Кончай быстрее, береги живот, — весело заговорил он. — Идти надо, запаздываем и так. Он тебя еще днем искал, не нашел...

— Кто?

— Как кто? Геолог Окунев. Уезжает в Сибирь, прощальный ужин у него. Одевайся быстрее.

С геологом Окуневым я знаком с прошлого года. Завод оказывал мелкие

услуги Тумнинской геологической партии, которой и руководил Окунев, толстенький, очкастый, круглолицый, напоминающий обликом знаменитого сказочника Ершова. Тихий, вежливый, начитанный. Мы обменивались книгами, обменивались мыслями о прочитанном, и мне всегда интересно было с ним беседовать.

Бревенчатый пятистенный дом, где обитали геологи, стоял на краю рабочего поселка Парашютный. За калиткой загремел цепью пес, глухо и лениво, для порядку сбрыхнул. Послышались шаги и голос окликнул нас:

— Кто там? — и обрадовано. — Давно жду, друзья, проходите.

Мы вошли в дом вслед за хозяином. Из прихожей видна просторная комната, длинный стол, уставленный яствами и бутылками. Вокруг стола уже расселись гости. По всему видно, они уже выпили «по первой», потому что оживленно о чем-то обменивались мнениями, и не особенно-то привлек их внимание наш приход. Нам нашли место, усадили, уже «штрафные» рюмки в наших руках. Я, как замороженный, точно так, как час назад мальчик, мой сосед, смотрел на кушанья, сплошь покрывавшие стол так, что нельзя понять, какой рисунок на скатерти. От давно позабытых запахов кружилась голова. Освоившись, я стал различать кушанья. Тут лежали на тарелках балыки и теша из кеты, калуги и осетра; поднимался парок над горками гуляшей и котлет мясных; рубиново светилась красная кетовая икра и чернела паюсная. И хлеб, такой же белый, какой остался у меня дома, и черный был, и булочки.

Приветливые хозяйин и хозяйка, такая же толстенькая, кругленькая, радушно угощали нас. И мы не чванились, ели все, что попадало в наши руки. От почти забытой водки не отказывались. Но по мере того, как голод покидал наши вечно тощие желудки, мы все чаще возвращались к мысли: а почему все же такой роскошный ужин?

— Несправедливо получается: дети пухнут с голоду, а тут чересчур, — шепчу Бабушкину.

— Так ведь как же иначе, — вздыхает Бабушкин. — Особой государственной важности задание люди эти выполняют.

— Все же лучше бы поровну, — замечаю я.

— Все равно всем не хватит, — возражает товарищ.

Я не знал, что возразить ему, но меня корбила эта явная несправедливость: одним лишку явно, другим и малого нет.

Геологическая партия входила в ведомство Амурлага, и этим все объяснялось. Работников ее, особенно руководящих, подкармливали. Окунев имел большой штат дармовой прислуги из числа заключенных: конюха, кучера, повара, целая дворня. Они и за этим столом прислуживали, суетились на кухне.

Присмотрелся к соседям по столу. Рядом со мной сидел усатый, черноволосый, с низким лбом мужчина в полувоенном костюме. Не без гордости он сообщил, что служит в конвойных войсках. «Помкомвзвода

я...» С другой стороны меня то и дело тычет в бок острым локтем захмелевший инженер, один из помощников Окунева. Произносились тосты в честь хозяина, хозяйки, в честь «бога финансов», как все называли тучного, с гладкой лысиной человека в роговых очках. Он довольно щурился и поправлял называющих его богом: «Бухгалтер — и государственный контролер!».

Я уже собирался совсем было улизнуть с пиршества, как дверь в дом широко распахнулась и в комнату быстрыми и тяжкими шагами вошел... Петренко! Вижу, что не одного меня удивил приход столь важного начальника в скромный домишко Окунева.

Большой, почти квадратный в своей медвежьей дохе до колен, он, казалось, занял все пространство комнаты, потеснил всех своей мощной плотью. Петренко рассеянно глядел маленькими темными глазками на собравшихся, словно не замечал никого, оставаясь наедине со своими мыслями. К Петренко подскочил всполошившийся хозяин дома, стал подобострастно приглашать дорогого гостя присесть «к столь скромному столу...»

— Стол-то не так уж и скромн, — покривил в снисходительной улыбке губы Петренко, стягивая перчатки. — Ты завтра едешь?

— Завтра, товарищ Петренко, — с готовностью подтвердил Окунев.

— Добро... Так ты там разверни... Чтоб все в срок... — предупредил Петренко. А польщенный и растроганный таким вниманием начальства, такой близостью к большому человеку геолог аж зашмыгал носом от такой чести: он, простой инженер, каких много, приобщен к государственной тайне. Ах, как важно быть приобщенным к тайне, ну хотя бы маленькой государственной тайне. А тут речь шла, конечно же, о большой государственной тайне. Я видел и на лицах большинства гостей Окунева счастье от снизошедшей и на них частицы такой благодати. «Сам Петренко приехал к Окуневу. Время нашел, надо же! И мы приобщились, мы лицеизрели высокое начальство, и нас коснулось крыло счастья, так неожиданно свалившееся на Окунева».

К Петренко тянулись руки с фужерами, но он не садился к столу, отводил рукой приглашения. Он взял бутылку водки, стоящую на краю стола, твердой рукой налил два стакана, подал услуживающему за столом зеку и небрежно, по-барски, сказал:

— Там, у дверей, — конвой... Вынеси... Мороз...

И, чуть задержавшись и махнув на прощанье рукой, исчез за дверью, сопровождаемый хозяином.

Я вспомнил почему-то богато убранную могилу жены Петренко, оскверненный холмик несчастной Еремкиной и почувствовал себя обиженным. Ну мне-то что до всего этого? Свои у меня заботы и свои горести, обиды.

Я посмотрел на сидевшего напротив Бабушкина. Тот понимающе

усмехнулся. Умный и чуткий парень этот Леня Бабушкин. Сбоку хрипло и восторженно забубнил взводный конвоя:

— Видал, каков наш генерал! Великий человек. Вождь, одним словом. Ты ему только служи, он для тебя — все, шубу с плеча. Вот он какой! Мы как-то с товарищем на Кузнецовском перевале вагон Петренко охраняли. Ответственный пост! Мороз под сорок, в бараний рог крутит. А мы стоим. И вот выходит в полночь из вагона Петренко, подзывает, подает, вот как сегодня, два стакана, говорит:

— Пейте. Это вам от меня за службу. Но не усните, подлецы, сами под конвой попадете у меня...

Эти слова генерала казались моему соседу очень смешными, забавными. Он даже закашлялся от смеха, и потом не раз повторял:

— Сами, говорит, под конвой попадете. Веселый мужик, хотя и генерал.

Я больше не мог оставаться здесь. Потихоньку вылез из-за стола, вышел в переднюю, стал одеваться. Подскочил хозяин. Он совал мне в руки увесистый сверток, аккуратно перевязанный шпагатом.

— Возьми, Геннадий. От чистого сердца. Тут кое-что из пищи. Нет-нет, ты должен взять, не обижай! И ни слова! Я тебе напишу из Сибири...

Все в душе и мыслях моих перепуталось, все казалось горьким, оскорбительным, гадким. Да и водка склоняла к меланхолическим мыслям, настроивала на минорный лад. Я брел потихоньку сонным поселком. Ни лая собачьего (собак тогда ели), ни огонька. Нет, вон в бараке, в окошке комнаты, где живет Кушакова, горит огонь. Наверно, кто-то из ребятишек болен? Я почувствовал тяжесть свертка в руке, шагнул к освещенному окну, постучал осторожно. В окошке показалось лицо Кушаковой. Она признала меня, махнула рукой «заходи».

С затаенной женской тревогой Кушакова взглянула на меня, отступила в сторону, пропуская в комнату. Кутаясь в шерстяную старенькую шаль, спросила настороженно:

— Ты что... так поздно?

Осмотрелся. Трое вповалку спали на постели, старший парнишка, лет десяти, сидел за столом с подвязанной щекой и читал книгу. Я положил на стол сверток, сказал:

— Вот возьми.

— Что это?

— Не знаю. Сказали, еда какая-то, а какая... Принес тебе. Гляжу — не спишь. Меня накормили.

Кушакова усмехнулась:

— Вижу, что накормили...

Она развязала бичевки, развернула сверток, стала перебирать содержимое и тихо ахать:

— Сгущенка! С сорок первого не видела... икра... лярд американский, галеты. Батюшки! Да ты зачем все это, ты к чему?! — построжела женщина.

— Забери и уходи, не трави душу.

— Ты о чем это подумала, глупая баба! — рассердился я. — Ну, не мое это, понимаешь, дурняком досталось. Это все как раз твое. И не играй гордячку. Корми ребятишек. Прощай. Извини, что поздно. Вижу, свет горит, завернул. На свет, поняла?

— Спасибо тебе, да не сердись... — растроганно говорила Кушакова, провожая меня.

ВЕСНА ПОБЕДЫ



Фролова Клава — сушильщица кирпича

Председатель завкома Иван Матвеевич Кривошеев снял шапку и подставил ветру курчавую, густо забеленную сединой голову. Высокий, статный, он еще красив поздней мужской красотой. Он смотрит в безоблачное апрельское небо и говорит, отчетливо и вкусно выговаривая слова:

— Греет... Скоро сажать картошку. В постройкоме нашему заводу обещают восемь тонн на семена.

— Маловато... — констатирую я.

— Резать будем. А как же! Засадим.

Мы стоим с Кривошеевым на болоте, начинающемся сразу за поселком. Болото поросло кустарником, утыкано столбиками черных травянистых кочек, на верхушках которых проклюнулась зеленая щетинка. Ближняя часть болота, что сразу возле домов, обработана огородниками еще в начале войны. Каждый год прибавляются новые участки. Сегодня мы пришли сюда, чтобы нарезать землю желающим. Кривошеев вооружен деревянным треугольным «землемером». Подходят работницы, вернувшиеся по ранению немногие фронтовики. Кривошеев аккуратно записывает имена в блокнот, вымеривает участок, на ходу давая очередному неوفиту-огороднику массу ценных советов. Он показывает как ловчее корчевать кусты, как надежно поддеть намертво вросшую в землю болотную кочку, как копать грунт, да чтоб приподнять грядку, тогда не

зальет ее даже в пору муссонных дождей.

— Земля здесь — масло. На хлеб мажь... — говорит Кривошеев. — Но лишней влаги не любит. Для того и поднимать надо грядки. У меня в прошлом году конец огорода дождем залило в августе, пропала картошка. Выдернешь куст — спиртом пахнет... Сгнила за сутки!

Получив участки, люди сразу же начинают корчевать кусты, резать кочки. И мы с Кривошеевым беремся за лопаты. Наши участки рядом, мы уже два раза собирали здесь урожай и первыми разработали свои огороды, чтобы подать пример.

А надобность в таком примере была. Когда началась война, Комсомольск разом лишился подвоза овощей и картофеля. Город оказался на голодном карточном пайке. Вот тогда взоры людей обратились к земле. До сих пор считалось, что на здешних землях ничего не растет. Опытные участки, небольшие поля маломощных совхозов своей хозяйственной деятельностью этого убеждения не опровергали. Но острая нужда, настоящий голод, воцарившийся в городе с первых военных дней, заставили людей идти на риск. Повсеместно возникали общественные огороды, распахивались подходящие земли. Пригодился опыт огородников-корейцев, местных коренных жителей. Теперь каждый год увеличивалось число людей, обрабатывающих землю. Кроме картошки растили успешно капусту, фасоль, свеклу, морковь, растили табак, приготавливая из него крепчайший самосад.

Мы видим, с какой натугой копает сегодня Кушакова свой огород: копнет раз-другой, встанет, задумается. Никогда не видели мы эту энергичную женщину такой расстроенной.

— Что с нею сегодня? — промолвил Кривошеев. Воткнул лопату в землю, направился к Кушаковой. Он перемолвился с нею несколькими словами, машет мне рукой. Подхожу.

— Вот, почитай письмо, — подал мне конверт Кривошеев. — Я очки не прихватил, не вижу ни черта.

С внутренним беспокойством он принял письмо. В конверте с фронта шли обычно только печальные вести... Я вытащил из конверта листок. Писарь воинской части скупко сообщал, что рядовой Аркадий Кушаков пропал без вести.

Кушакова малограмотна. Таких женщин большинство на заводе. Кушакова ходила в ликбез, где я преподавал азбуку, и научилась читать по-печатному и выводить каракулями свою фамилию. Война помешала учебе. Письма мужа с фронта ей читала Маня, потом грамотные другие подружки. Старшему сынишке письма эти Кушакова читать не давала, потому что писаны они были только для нее. Сейчас Кушакова смотрела на меня с тревогой и надеждой: «А вдруг те, кто раньше читал, не так поняли написанное? Может, что-то Гена вычитает хорошее?» Нет, слово в слово то же читаю, что и Маня... Кушакова опускает голову, теребит нервно концы

платка, подвязанного у подбородка, говорит с каким-то ожесточением и уверенностью, словно спорит с самой судьбой:

— Не верю я... Все равно не верю... В госпитале он. Ногу могло оторвать. Он сказал: «Если сильно искалечат, не возвращусь домой, Нюрка. Без вести пропаду. Тогда замуж выходи». Он такой, я его ждать буду, найду на краю света. Врет письмо. Врет... Не знают они Аркадия.

— А что? Вполне так может быть, — размышляет Кривошеев. — Со мной вот в гражданскую тоже так было: напечатали в газетке, что я погиб в сражении под Волочаевкой. Родители панихиду отслужили, оплакали. А я из госпиталя через три месяца и заявился! Летом, как сейчас помню. С того свету! Вот и сейчас еще жив. Так и Аркадий... Ты верь, женщина, верь.

Кушакова со слезами благодарности слушала Кривошеева. Старый человек, повидавший на своем веку всякого, нашел слова утешения. И я, слушая Кривошеева, тоже верил, что с Аркадием все обойдется счастливо.

Мы, не сговариваясь, перешли на делянку Кушаковой и копали ее до полуночи, пока не закончили, отправив хозяйку пораньше к детям.

Как-то вечером, идя с работы, у крыльца своего дома был встречен высоким человеком в шинели и пилотке. «Фронтвик какой?» — мелькнула мысль. Высокий шагнул из тени на свет, падающий из окна, широко развел руки, знакомый голос произнес:

— Не узнаешь?

— Саша! Ты, дорогой? Какими судьбами?

— Я не один, Гена. Со мной двое солдат нивхов, — гудел за спиной Саша. — С низовья Амура мы, там служим... Весна скоро, горбуша пойдет, рыбку ловить надо. Голодают солдаты... Мы за делью приехали, сети надо плести.

Молчаливые нивхи сразу улеглись на полу спать, а мы долго говорили, припоминая милые подробности довоенной, такой далекой и прекрасной жизни.

Лет пять до войны я работал вместе с Сашей Ломакиным, самым близким другом моим. Саша был электриком. Избирали мы его секретарем комсомольской ячейки и профсоюзным вождем завода. Мы были интересными друг другу собеседниками и проводили долгие свободные часы, горячо обсуждая прочитанные книги, исторические события. Ломакин познакомил меня с элементарными законами логики, привил интерес к философским вопросам жизни. Это он приоткрыл завесу над таинственной теорией относительности, поразившей меня несокрушимой убедительностью незыблемой аксиомы.

Высокий, похожий на Дон Кихота и характером, и нескладностью своей, он долго тренировал себя, чтоб освободиться от вихляющей походки, сутулости, развинченности. Саша организовал курсы бальных танцев, редкостных для тех аскетических времен. И сам упорно учился, что и помогло ему изменить осанку. Я по-хорошему завидовал другу, сам-то

танцевать так и не научился я сейчас вспомнил об этом, спросил:

— Танцевать не разучился?

— Нет, всегда в форме. Я изредка с ребятами тренируюсь, обучаю их помаленьку, — говорит Саша и делает «проходку» по комнате, напевая танго.

Мы говорили, умолкая только тогда, когда из вечно включенного в радиосеть серого диска репродуктора доносились позывные Москвы. Радостно, с замиранием сердца слушали мы набатный ликующий голос Левитана: «...После ожесточенных боев наши войска овладели городом... В ознаменование победы наших войск произвести... салют...»

В апреле 1945 года почти каждый день передавались приказы Верховного главнокомандующего о занятии очередного города уже на чужой земле: немецкой, в Румынии, Чехословакии, Венгрии, Австрии... Голодные, измученные тяжким трудом люди жили этими победными сводками с фронта, они прибавляли им силы, помогали не расслабляться, работать на пределе человеческих возможностей.

Мы говорили с Сашей о совсем еще недавнем мирном времени, кажущемся нам сейчас таким привлекательным, как сказочный сон. Вспоминали бурные комсомольские собрания, забытые песни. Чтобы не разбудить спящих солдат, мы вполголоса пропели давнюю, полюбившуюся нам обоим песню, которую исполнял блистательный Леонид Утесов: «Ох, не добра та ночь, что гонит всю нежность прочь...» После некоторой паузы, переживая пропетое, навеянное песней, Саша сказал с некоторым смущением:

— А я там... в армии, стихи стал писать... Хочешь прочитаю?

И стал читать. Это была целая лирическая поэма, роман в стихах, со слабой рифмой, рыхловатая вещь, но очень искренняя. Об этом я и сказал другу осторожно, чтобы не задеть его авторское самолюбие.

— Может, в печать дать, опубликуют? — с надеждой спросил Саша.

— Лирика... А теперь война. Могут не дать, — высказал я предположение.

— Могут не дать, — согласился печально Саша. — А после войны?

— Там видно будет.

—И то верно. Ну, давай спать!

Саша приехал на двое суток, а пробыл пять, пока «выбил» дель. Мои гости с беззаботной роскошью угощались сгущенкой и прочей снедью, выданной им старшиной перед отъездом, и не рассчитали: последние два дня мы все четверо жили на мою тощую пайку, да еще нашлась на кухне кастрюлька проросшего картофеля. Так что, провожая Сашу, я испытывал головокружение от голодухи, но и большую радость от встречи с другом, скрасившей однообразное мое житие.

Перед отъездом Саша попросил меня сходить с ним в заводской клуб. Там шел кинофильм «Два бойца», потом показывали документальную

хронику. Народу в зале мало. После киносеанса заведующий клубом колонист Артем завел радиолу, отодвинули к стене деревянные скамьи, освободив место для танцев. Бедно одетые девушки толклись на пяточке, танцуя друг с другом. Парней не было, если не считать безногого фронтовика. Он смешил девчат уморительными гримасами, рассказывал фронтовые байки тоном умудренного опытом воина, хотя ногу бедняга потерял еще подвезжая в теплушке к фронту. Немцы бомбили этот поезд...

А Саша «отвел душу». Он поочередно танцевал со всеми девушками и всем говорил комплименты. И все они счастливо краснели и смеялись ему в плечо.

Мы возвращались домой, и до нашего слуха доносилась девичья песня: «На позицию девушка провожала бойца...» Бессчетное число раз мы слушали за годы войны слова этой трогательной непритязательной песни, затрагивающей сердца людей всех возрастов. Сколько было таких провожаний и сколько девушек не дождалось своих пареньков...

Во все времена в годы всенародного бедствия на людском несчастье пышно расцветают мошенничество, спекуляция, казнокрадство. И в Комсомольске появились такие нувориши войны, наглые, уверенные в безнаказанности. К концу войны аппетиты этих проходимцев возросли до невероятных размеров. Имеющие доступ к дефициту, они спекулировали на рынках почти в открытую, не боясь правоохранительных органов, в те времена сильно коррумпированных, связанных круговой порукой с проходимцами всех мастей и рангов, кои сейчас кратко и точно зовутся мафией.

И с этой шатией боролся народный контроль. На нашем заводе в комиссию народного контроля вошли я, Вервейко, Холявин. Мы знали, как дьявольски изворотлива заведующая производством Скулкина. Что она воровала, и в больших масштабах, продукты, знали все, и она особенно не скрывала это, даже иногда бравировала своей неуязвимостью. Мне однажды она сказала со злорадной ухмылкой: «У меня все начальство вот где, — и сжала при этом свой сухой цепкий, как у хищной птицы лапка, кулачок. — Я и с судьей запросто, и с прокурором. Они тоже кушать хотят, запомни это».

Откровения хищницы приводили меня в смятение и ярость. Но не мог я так полностью верить в то, что говорила мне Скулкина. Доверие к представителям государственной власти в сознании нашего поколения внедрено было основательно. Но все же на душе становилось муторно. Ведь «отдельные» вывихи нравственности у служителей правопорядка и законности могли быть, и случались... Иначе почему же люди, подобные Скулкиной, грабящие всю войну народ, остаются ненаказанными?

Наш приход в столовую в утренний час был неожиданностью для чуть смутившейся Скулкиной. Она, сладенько улыбаясь, приветствовала нас:

— А, гости дорогие! Милости просим, проходите. С проверочкой? Ну

что ж, мы всегда... Присаживайтесь. Чайку?

— Спасибо, мы пили, — отказался я. — Давайте раскладку продуктов на сегодня и ключ от кладовой.

— Раечка! — крикнула Скулкина. — Ты где, Раечка?

Раечка, медлительная, пышнотелая молодая особа, исполняющая должность счетовода столовой. Раечка не откликнулась.

— Оне дома, — с услужливой готовностью доложила Скулкиной рыжеволосая официантка Дуся. Недавно она стала невесткой Скулкиной, выйдя замуж за ее вдового сына, работающего на оборонном заводе литейщиком.

— Да ведь сейчас здесь была, — осердилась Скулкина.

— Только что вышли, — уточнила рыжая Дуся.

— Сбегай-ка за нею, Дуся, скажи, чтоб живой ногой сюда! Мол, контроль ожидает, рабочий...

Дуся скрылась за дверь. Мне не понравилось последнее уточнение Скулкиной. Что-то готовит нам эта хитрая баба. Я сказал:

— Ладно, раскладку потом посмотрим, а сейчас пошли в кладовую, наличие продуктов проверим, — распорядился я.

— Обождать придется, — поджала тонкие губы Скулкина, в ее маленьких мышинных глазках сверкнул недобрый огонек.

— Не понял? — оцитинился я, готовый пойти в кладовку и без ее разрешения.

— Чего понимать-то. Ключ-то у Раечки. Она заболевшую кладовщицу уже месяц как заменяет. Да вы не беспокойтесь, принесет она ключи.

Вскоре появилась Раечка. Окинув нас недовольным сонным взглядом, сказала ворчливо:

— Все проверяют, все проверяют, господа, покоя нет людям. Вот вам калькуляция, читайте...

— А ключи от кладовки?

— А зачем?

— Как зачем, остатки снять.

— Не взяла я ключей. Сходить что ли? — обратилась Раечка к Скулкиной.

— Сбегай, Раечка. Надо чтобы все было благородно, чтобы без подозрений каких. Иди-ка, — напутствовала Скулкина, со значением глядя на бухгалтершу.

Началось перевешивание продуктов. Скулкина все время путала счет, вмешивалась, сбивала нас с толку. С большим трудом взвесили все, сверили с раскладкой и нашли отклонения. Как всегда и на этот раз были занижены в котлах суповых нужные компоненты. Не доставало крупы, жиров. В одной из хозяйственных сумок, найденных на кухне, Холявин обнаружил в кульках газетных рис, перловку, порядочный шмат сала. Все повара и сама Скулкина, конечно же, решительно отказались признать себя владельцами

сумки.

— Это надо же! — возмущалась Скулкина. — Наверняка кто-то из вчерашних дежурных хотел унести, да не смог.

— Дежурный не мог унести, — резко отверг я догадку Скулкиной. — Мы посылаем дежурить самых честных людей.

Наконец, после долгого отсутствия, пришла Раечка и нехотя подала ключи.

— Можете проверять...

Не успели мы осмотреться в темной кладовке, как на кухне послышался начальственный голос Степаненко. Он, размахивая руками, отчитывал Скулкину:

— Вам кто разрешил допускать ревизию? У них нет прав!

— Я человек маленький, — изображая испуг, оправдывалась Скулкина. — Пришли, предъявили...

— В ОРСе свой ревизор имеется. Мы сами все проверим, когда надо будет. А вас, — обратился он к нашей комиссии, — прошу освободить помещение.

— Но-но, поосторожнее. Мы все же от завкома, от рабочих завода, — разозлился я. И скомандовал Холявину и Вerveйко. — Ставьте мешки на весы, перевешивать будем.

— Не будете! — загородил нам дорогу Степаненко.

— Батюшки, что делается! — запричитала Скулкина. — Самовольничать-то никому не позволено, товарищи дорогие.

— Будем! — отпихнул от дверей кладовки Степаненко Холявин.

Тот завизжал разъяренно, подбежал к входной двери, распахнул ее толчком ноги и крикнул:

— Товарищ Волобуев!

Из темного тамбура ступил в кухню милиционер Волобуев, участковый нашего поселка. Он еще недавно возил кирпичи из печи обжига. Крепкий, высокого роста, с каменным, ничего не выражающим лицом и пустыми глазами, он подходил для такой должности по тем временам. Надев мундир, прицепив кобуру, Волобуев страшно заважничал. Он степенно прохаживался по поселку, начальственно поглядывая на всех. И голос его стал хрипуче начальственен, и сакраментальную фразу «прошу не нарушать» произносил значительно так, с достоинством человека, обладающего большими правами. Вот и сейчас он приблизился к нам и произнес с оттенком угрозы:

— Прошу не нарушать.

— А чего мы нарушаем? — спросил Холявин, насмешливо смотря на своего вчерашнего работника, а ныне такого важного блюстителя закона.

— Прошу покинуть столовую, — с угрозой жал Волобуев. За его спиной злорадно ухмылялся Степаненко. Мы, как побитые, вышли на улицу, сопровождаемые еле сдерживаемыми смешками кухонной obsługi.

Спорить с милиционером было бесполезно, да и небезопасно. Уж мы это хорошо знали.

На улице, прежде чем разойтись, постояли немного. Тихо выругавшись, Холявин проговорил:

— Откуда он, черт его побрал, узнал о нашей проверке?

— Так Раечка же позвонила по телефону Степаненко. Вон его двуколка стоит у проходной. Мигом прикатил. — Тут одна банда. Эх, взял бы автомат, полоснул чертей, — пригрозил Варвейко.

— Они тебя скорей полоснут... — заметил Холявин. — Но даю, ребята, слово, я все же когда-нибудь подловлю Скулкину! Как вор не ворует...

Весной усилилась работа по отсыпке железнодорожного полотна, идущего от городского железнодорожного узла к берегу Амура, где в дно реки уже забивали деревянные сваи будущего причала паромов. Решено было перевозить на правый берег с левого железнодорожные составы на мощных парамах. Такие корабли, способные взять на борт сразу железнодорожный состав, спешно строили на местной верфи. Дорогу Комсомольск — Совгавань предстояло сдать к июлю 1945 года...

Насыпь росла с невиданной скоростью, буквально на глазах, опоясывая наш завод. Мы надеялись (таков был уговор со строителями), что нам оставят проход под насыпью для доставки дров из затона. Но однажды Кондратенко позвал меня к себе в кабинет, я застал его как всегда одетого в пальто, в шапке, бочком восседающего возле стола. Он долго глядел на меня, словно прикидывал: стоит ли ошарашить очередной неласковой вестью и, решив что стоит, промолвил:

— Эти прохвосты амурлаговцы отрезали нас от лесобиржи. Полностью отсыпали полотно. Що будемо робить?

— Не знаю... — растерялся я.

— Вот и я не знаю. Механик треста Акопов предлагает сквозь полотно протащить стальную трубу диаметром метра в полтора. Уже расчеты делает конструктор. Но надо получить добро от самого Петренко. Бери вот эту бумагу и валяй на поклон к Петренко.

— А ты сам?

— Мне не разрешит. Невезучий я, — суеверно признался Кондратенко, — особенно когда мне нужно что-то позарез.

И, чуть улыбнувшись, добавил:

— К тому ж ты водку с ним пил, с Петренко. Мне Бабушкин рассказывал.

— Иди ты!.. — ругнул я товарища, но бумагу взял обреченно. Насчет везения и у меня не все ладно...

Не знаю, удалась бы наша операция, если бы не счастливый случай. Я долго томился в коридоре управления Амурлага еще на дальних подступах к самому могущественному Петренко, у которого и первый секретарь горкома не всегда мог получить аудиенцию. Мимо меня сновали

озабоченные люди в штатском и в мундирах, совершенно пренебрегая моей особой. И вдруг моей руки коснулась теплая рука, я поднял глаза. Передо мной стоял, улыбаясь, Василий Ажаев. Я с ним познакомился на занятиях городского литературного объединения при редакции газеты. Я там читал стихи и басни, он — рассказы. И неплохие рассказы. Василий Ажаев попал в лагерь по 58 статье. Он не любил говорить, за что конкретно его судили, да мы и сами знали, что обвинения были вздорные.

Он продолжал «отбывать срок», но пользовался относительной свободой. Петренко, прознав о его литературном таланте, делал ему послабления, насколько считал возможным. Ажаев выполнял необременительную работу по какому-то там учету. У него было свободное время и он много писал. Поговаривали, что Ажаев пишет роман о строителях. Петренко, этот всесильный сатрап сталинской эпохи, любил представлять себя меценатом, делал разные уступки в режиме музыкантам, литераторам, артистам, мастерам спорта. Попал в их число и Василий Ажаев.

Сейчас он держал мою руку и мягким голосом своим осведомлялся:

— Ты что тут делаешь в этом казенном доме?

Я рассказал, что надо подписать бумагу. Ажаев на минуту задумался, потом, решившись, взял у меня прошение наше и сказал:

— Ты тут постой, может, я с помощью секретарши получу визу. В фаворе она у Петренко. Он ей почти не глядя может подписать, — и скрылся в толпе спящих по коридору людей.

Не прошло и пяти минут, Ажаев вернулся, помахивая бумажкой.

— На, бери твою челобитную. Подмахнул. Только велел секретарше передать вам, кирпичникам, устно: «Повредят полотно, пересажаю всех!»

Нас строго предупредили: трубу проложить под насыпью за четверо суток. Намечалось открывать по дороге движение рабочих поездов.

Завезли трубы, станок для проталкивания труб сквозь земляную насыпь. Я взялся сам руководить работами, подобрал среди колонистов мужиков покрепче. Хотя какая там крепость у этих истощенных от систематического недоедания, деморализованных недоверием официальных органов, снедаемых тоской по семье и родным местам людей. По расчетам конструктора труба должна была входить в грунт как «в масло», но сколько мы ни бились, труба не хотела продвигаться. Миновали одни сутки — труба ни с места. Поломали станок, из сил выбились люди. Пришел Кондратенко, долго осматривал всю злополучную конструкцию, вздыхал, мрачно заметил:

— Дохлое дело... Чую — остановим завод. Катастрофа, одним словом.

И ушел, оставив меня в смятении. Никогда мне не приходилось решать столь сложной технологической задачи, да и опыта никакого в этой области. Один из колонистов посоветовал трубу бросить, а просто пройти штольную под насыпью. В прошлом шахтер, он говорил, что затея такая вполне осуществима. Брался и крепь сам ставить. План шахтера

заинтересовал всех, стали обсуждать. Один из колонистов, бородатый Тулин, уроженец воронежской земли, искусный гончар, предложил свой план:

— Штольня — долго, у нас трое суток осталось. Потом, как я понимаю, нас погонят в шею. Значит, надо быстро? Предлагаю: по одному лезть в трубу, вырубать ломиком и лопатой грунт из-под краев трубы, тогда она пойдет, как миленькая.

Идея была настолько проста, что казалась нереальной. Но я решил попробовать. Первым в трубу влез сам Тулин. Из трубы гулко доносилось пыхтение Тулина и скрежет лопаты. Тулин набрасывал грунт в ящик и его на веревке проворно тащили наружу. За час продвинулись на метр. Люди повеселели, слышались шутки. Колонисты наверное впервые за время своего подневольного пребывания на Дальнем Востоке работали так слаженно, самозабвенно. Через каждые полчаса люди сменялись, кряхтя лезли в трубу. Выходили одуревшие от холода, от боли в затекших руках, ногах, пояснице. Шли в будку пилопра, отогревались возле буржуйки, снова возвращались в трубу. И так проработали двое суток непрерывно, питаясь холодным супом и рыбой, доставляемой, по моей договоренности, Кушаковой из столовой.

А слесари тем временем установили две лебедки, приспособили тросы. И вот наступил торжественный момент, когда Тулин сделал последние удары ломом, смерзшийся грунт рухнул, и лом, звеня, выскочил на землю уже по ту сторону железнодорожного полотна. Колонисты кричали «ура!», обнимались. Тулин оглаживал черную бороду, довольный победой, говорил:

— С начальства полагается... Горлышко бы промочить. Пылища!

Я раздобыл у Кузьмича по чарке разбавленного спирта для своих героев. Они пили, закусывали соленой кетой и черемшой, говорили о своей трудовой удаче, перебирая малейшие подробности минувших суток.

А в это время лебедками таскали из затона по трубе толстые бревна, предназначенные на топливо для калорифера и обжиговой печи.

Апрель сорок пятого! Теперь каждый день передают приказы Верховного о наших победах.

Апрель! Весенний пьянящий ветер дует упруго и ласково с юга, он овеивает закопченные угрюмые цехи завода, полуразрушенные сушильные сараи. Ветер ласкает обожженные и задубевшие от морозов за долгую зиму лица работниц. Я совершаю свой ежедневный обход цехов и всюду меня встречают утром обычным вопросом:

— Как дела на фронте?

Этот вопрос задала мне формовщица Сапрыкина. Вместе со своей подружкой Дашей Перетрухиной она при том не переставала снимать кирпичи, только что отрезанные автоматом от влажной глиняной ленты.

— Какой город наши взяли? — подхватила Перетрухина. И другие

работницы чуть замедлили движения, чтобы лучше расслышать ответ.

— Вчера взяты сильные укрепления на подступах к Берлину — Зееловские высоты, — говорю я, торжествуя.

— Значит, капут фашистам, Гитлеру капут! — кричит Сапрыкина.

— Капут, дорогие женщины!

Радость и надежда на лицах работниц. Они обмениваются мыслями по поводу сражения под Берлином, привычно и неумолимо делая свое дело.

— А когда война совсем окончится? — допытывается Сапрыкина.

— Рейхстаг возьмем — и войне конец!

— Вот праздник-то будет! Всем праздникам праздник! — восклицает Сапрыкина. — У меня бутылочка водки есть, для этого случая припасена. Год как берегу.

— Ты где ее прячешь? — зубоскалит слесарь Манаенко.

— Это секрет, Никитушка.

— А если — победа, стопку дашь?

— А как же, по такому случаю и не угостить. Если подоспеешь...

Женщины смеются.

В апреле самое каторжное место — глиняный карьер. Уму непостижимо, как только все женщины, работающие здесь, не болеют все разом. С потолка, подпертого стойками, — непрерывная грязная капель. Скрыться от нее никак нельзя. Работают все в легкой спецовке, уже через полчаса после заступления на смену они мокрешеньки насквозь. От разгоряченных работой тел идет пар... Узкоколейные пути, по которым катают вагонетки с глиной, покрыты водой. Колеса часто соскакивают с рельс, тогда женщины скопом обступают вагонетку, поднимают ее на руках и ставят на рельсы, ругаясь почему зря. Вот в такой острый момент я и заявился в карьер.

— Эй, главный, подь-ка сюда, подмогни! — кричит Лукина, подлаживая под раму вагонетки деревянную слегу. — Вот, берись-ка за это место. Так! Взяли, бабы! Эх, разо-о-ом!

Вагонетка встает на рельсы, загромыхала лебедка, поползла вагонетка, покатила по бремсбергу.

А женщины, воспользовавшись минутной передышкой, уже теребят меня:

— Как там, на фронте?

— Какой город взяли?

— А логово как? Хенде хох немцы?

— Хенде хох, дорогие мои женщины, трещит, рушится последняя оборона фашизма.

Смеются, радуются женщины, а вот Мария Гребнева плачет почему-то. Что это с Гребневой?

— Маша, ты перестань, право слово, — тычет ее в бок ручищей Лукина. И мне: «Вчера письмо от мужа получила. Жив. Воюет. А она нюнит».

— Страшно, убить могут. Война-то идет, бабоньки...

В канун майских праздников меня вызвал главный инженер треста Стржалковский. Мне нравился его кабинет, окрашенный в синий цвет, скромная, но изящная обстановка. Седовласый, красивый Стржалковский вежливо и строго распекал своих подопечных техноруков подсобных предприятий треста. Попало и мне. Завод недодал кирпич на строительство важного цеха на оборонном заводе. Обещание мое поправить дело не успокоило главного, но почему-то рассердило. Он спросил недовольно:

—А почему вы улыбаетесь, как это надо понимать?

—Я не смеюсь, — возразил я. — Я радуюсь сегодня.

Стржалковский долго смотрит на меня испытующим взглядом и неожиданно сам улыбается, говорит примирительно:

—Хорошие вести с фронта? Да, да, я слушал радио...

Все, кто слушал сегодня сводку, наперебой стали рассказывать подробности сражения за Берлин.

— Да, все же здорово! — соглашался с нами Стржалковский, — но вернемся к нашим скромным делам. Так вот: к первому мая всем подтянуть план. На фронте вон как сражаются, жизни не жалеют, а у нас... Вот вы, Хлебников, обещаете план в апреле?

— Сделаем, — говорю я уверенно. А уверенность, оптимизм мой имеют солидное обеспечение. Мы с Кондратенко еще в первом квартале припрятали от учета несколько десятков тысяч кирпичей. И теперь, если чуть и не дотянем, то выдадим сводку даже сверх плана. К такой хитрости в те времена хозяйственники прибегали сплошь и рядом. Знали об этом и те, кто стоял выше их на административной лестнице, но закрывали глаза. И стоящим выше нужна была хорошая сводка.

Над землей, истерзанной и обезображенной войной, победительно шествовала весна. Пришла она, хотя и с обычным запозданием, на великую реку Азии. Набухал, чернел ледяной покров Амура, готовый вот-вот рассыпаться под теплыми лучами солнца. И летели в голубом небе вереницы перелетных птиц, с ликующим криком спешили на родной Север.

И летели, как птицы, последние дни страшной войны. Чем ближе день Победы, тем стремительнее их лет. В этом движении времени, пронизанном счастьем Победы, растворялись, казались незначительными все тяготы, все личные обиды и горести, все неустройства быта и труда. Люди как бы поднялись над обыденным, каждый став стойком и страстотерпцем. Люди объединились в одном торжественном гражданском чувстве свершившейся наконец исторической справедливости. Ну не может зло одержать верх, побеждает только добро, сколько б ни пришлось человеку перенести испытаний. Добро в народном понятии всегда выше, как выше лжи правда. В этой неистребимой вере в силу и победоносность добра есть извечное иррациональное. Холодный рационализм не признает этого. Ну и что из того! Все равно есть иррациональное, интуитивное в народном естестве, в народном мышлении, и должно брать всегда верх, иначе конец жизни на

этой затерянной в бездне космоса и, как утверждают, единственной планете.

День, которого с вожделием ожидали миллионы людей, о котором мечтали тысячу четыреста с лишним дней, наступал с неотразимостью падающей с горы снежной лавины. Как-то майским вечером меня позвала к телефону запыхавшаяся от бега курьерша. «Из райкома звонят», — сказала она, округляя глаза. Бегу в контору, хватаю теплую от руки телефонистки трубку, прижимаю к уху.

— Хлебников? Говорит Кадилин, — зажурчал знакомый баритон первого секретаря райкома партии. — Ты вот что: завтра с утра готовь митинг по поводу Победы над фашистской Германией. Завтра, 9 мая, — День Победы. По всей стране. Да и по всему миру. Поздравляю, Хлебников!

— Поздравляю и я, — срывающимся голосом отвечаю.

— Давай, действуй. Митинг сам откроешь, слово скажешь. Найдешь что сказать?

— Найду...

— Бывай... — голос в трубке умолк. Пожилая телефонистка пытливо глядела на меня, не решаясь спросить: что же такое сообщил мне секретарь райкома. Я обнял старую женщину и сказал:

— Война закончилась, тетя Оля! Все! Завтра праздник Победы!

Старая женщина расплакалась. Я смотрел на нее и у меня першило в горле и щипала глаза назревающая слеза...

Дождался прихода Кондратенко. Он вошел в неосвещенный свой холодный кабинет, увидел меня за столом, осведомился спокойно:

— Ты что тут сумерничаешь? ЧП какое?

— ЧП, дорогой мой Иван. Войне конец. Капитулировала Германия. Завтра праздник — День Победы.

Кондратенко опустил на стул. Долго молчал, справляясь с обуревавшими его чувствами. Потом вскочил, взял меня за руку, крепко сжал в своих ладонях, сказал:

— Спасибо за хорошую весть, Геннадий! Хотя и ждал давно такой вести, да пришла так неожиданно. Крикнем «ура!»

— Ура! — закричали мы оба, хлопая друг друга по плечу. Дверь в кабинет приоткрылась, показалось испуганное лицо тети Оли, но, увидев, что мы, как дикари, пляшем возле стола, усмехнулась, прикрыла дверь.

Этот ясный солнечный майский день останется в моей памяти на всю жизнь.

Утром весь заводской народ собрался во дворе возле конторы на митинг. В толпе дети, старики, пришедшие с поселка. Мы с Кондратенко и Копейкиным стоим на крылечке и смотрим на счастливые лица людей. Вон возле Марфы Лукиной табуняются наши землекопши, а здесь садчицы теснятся к Вале Лохтиной. Знакомые лица дорогих мне людей, с которыми так много пережито.

Я смотрю на собравшихся и испытываю сложное чувство боли и гордости за этих людей, я восхищаюсь и всегда буду восхищаться их необыкновенным мужеством и самоотверженностью до самопожертвования.

В толпе работниц лишь кое-где мужская фигура. Эти женщины в рваной латаной одежде, обезображивающей их, в изношенной обуви, с исхудалыми лицами, тронутыми той или иной стадией дистрофии, — эти женщины вынесли на своих плечах тяготы военного времени, не сломались, не пали духом. А ведь ни одной из них, стоящих здесь, пришла за эти годы похоронка, извещавшая о гибели мужа, сына, брата, жениха... и ни одна похоронила здесь, в глубоком тылу, сына, дочь, отца или мать, не выдержавших испытания голодом, тяжелой болезнью.

В двух шагах от меня стоит и плачет Поля Сапрыкина. Замечаю: нет сегодня рядом с нею Даши Перетрухиной. Эти две женщины всегда воспринимались мною как Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо, только вдвоем. И вот в такой-то торжественный день Сапрыкина почему-то одна. Спрашиваю стоящую рядом Кушакову:

— Почему Перетрухиной нет?

— Приболела она... Сердце... У нее давно... — тихо отозвалась Кушакова.

— Дорогие товарищи! Мы собрались сегодня здесь, чтобы отметить светлый праздник — День Победы... Поздравляю вас с Победой над злейшим врагом Родины нашей, народа нашего, всего человечества, с избавлением Земли от фашистской коричневой чумы...

Я говорю эти не раз слышанные, не раз сказанные слова, но воспринимаю их сегодня как впервые услышанные, только что родившиеся здесь, на дворе кирпичного завода. Они мне кажутся, и вижу — всем моим слушателям — возвышенными и теплыми. Я переживаю душевный подъем, мне хочется обнять всех этих истомленных, испачканных глиной и красной кирпичной пылью людей. Я счастлив, что разделил с ними все горести этой страшной войны, был рядом с ними на пилке дров под ледяным ветром на Амуре, в жаре и духоте обжиговой печи, в промозглой мокроте карьера и формовочного цеха, что делил с ними скудный суп-болтушку и пайку черствого, наполовину с картошкой испеченного хлеба.

— Наша страна, наша армия выстояли...

— Слава вам, дорогие женщины. Вы были главной силой и опорой завода нашего. Из кирпичей, сделанных вашими руками, построены цехи и десятки новых заводов Комсомольска, работающих на оборону.

Слава вам, дорогие женщины!

А женщины что-то все разом кричали друг другу, обнимались, женщины плакали и смеялись, и за плачем, и за смехом чувствовались боль души, множество болей, оставивших неизгладимые ничем рубцы на их многотерпеливых сердцах.

После митинга я с Полей Сапрыкиной пошел навестить заболевшую Дашу Перетрухину. Празднично гудел поселок, как улей, готовящийся к роению. Трудно было даже представить, что так много живет людей в его бараках. Встречались подвыпившие. То и дело из открытых окон слышались приглашения:

—Геннадий, к нам заходи!

—Главный, в нашу компанию!

В стороне от дороги, делящей поселок на две части, прилепился окруженный плотным забором домишко Скулкиной. Чтобы попасть к барaku, в котором живет Перетрухина, не миновать этого дома. Когда мы поравнялись с ним, ворота приоткрылись и вышла, сладко улыбаясь, сама Скулкина. За ее спиной на дворе виднелись сдвинутые столы, сидели гости, уже шумно гуторившие, что свидетельствовало о начавшемся пиршестве.

—Милости прошу, — с достоинством поклонилась Скулкина. — Победу отмечаем. Чем богаты, тем и рады.

—Праведно ли богаты? — не удержался я.

—Знаю, на что намекаешь... Война все спишет, мой милый. Ну, прощайте! — и скрылась за воротами. А там слышались нестройные голоса: «На позицию девушка провожала бойца...»

Война все спишет? Спишет ли?.. На это уповает не одна Скулкина, не одни только спекулянты и мародеры, но и те, которые убаюкивали народ сказками о гранитной твердости наших границ, те, которые плохо управляли армиями. Спишет ли все война? Народ благороден, но он и памятлив. Ему нельзя быть беспамятным, тогда он заканчивается как народ, лишенный исторического опыта.

Барак, в котором живет Даша Перетрухина, такой же как и все бараки поселка, только чуть поновее. Его строили солдаты стройбата накануне войны. Строили, как и другие бараки, для казарм. А поселились тут рабочие. Тут получила комнату и Перетрухина. Стандартный барак того времени делился на две половины длинным сквозным коридором. По обе стороны — комнаты. Всего тридцать две. Свет из вечно запыленных немытых стекол окон с обоих торцов здания еле освещают мрачный, пахнувший кошками, керосином, карболкой, коридор с тоже никогда не мытым черным полом. На стенах развешана разная утварь, на полу ящики. Натыкаясь на разные предметы домашнего скарба, бредем к комнате Перетрухиной.

— Вот тут, — услужливо говорит Сапрыкина, открывая передо мною дверь. Мы вошли в чистую комнату. Белела окрашенная плита (к майскому празднику), марлевые занавески на окнах, тканые дорожки на полу. Перетрухина в какой-то неестественной позе лежит на кровати, а возле нее, встав на колени на полу, плачет почтальонша Маня. В руках ее письмо. Увидев нас, она вскочила и, размахивая руками, скорбно запричитала:

— Умерла Даша... Только что испустила дух... на моих руках... Я ей

письмо от мужа с фронта... Даша попросила: «Прочти». Стала читать... фотография в письме, вот, посмотрите,— подала Маня мне фотографию Шуваева, мужа Даши. Он изображен возле танка в форме командира.

— Взяла она карточку, смотрит, шепчет что-то, — продолжала рассказывать Маня, — а я читаю... Пишет, что жив-здоров, что скоро победа, мол жди с победой. И Даша повторяет это слово тихо: «Победа». Ну вот, читаю, слышу, утихла моя Даша. Глаза закрыла, не дышит, замерла... Господи, наказание какое! Победа, муж пишет, муж здоровый, а она умерла. Где ж правда, милые граждане?! Где правда, спрашиваю?!

Вместе с Маней расплакалась Сапрыкина. Комната начала заполняться жителями барака. Плач разрастался. Уважали и любили Дашу Перетрухину люди, жалели искренне.

Мне стало не по себе. Расстроенный, я вышел из комнаты, оставив Дашу на попечение подруг. Чем я мог тут помочь? Я шел по поселку и опять слышал приглашения к скудному, нищенскому, но все же праздничному столу. Прошел мимо домика Скулкиной, где веселье разгоралось вовсю. У барака повстречал меня Нургали Тимаев, схватил за руки, настойчиво стал звать к себе:

— Картош-ш-ка жареная на масле! — соблазнял меня Тимаев роскошной закуской. И, оглянувшись, тихо добавил, прикрывая рот ладошкой:

— Первач есть... Сам гнал. Это для такого праздника, голова начальник.

Я вежливо отказался от угощения. Славный Нургали, не полезет мне в горло картошка с маслом после только что увиденного горя. Я вышел из поселка и направился по пустынной разбитой дороге в город, виднеющийся вдали. Мне и не нужно было в город, я шел без цели, бессознательно уходя от всего тяжкого, что накопилось на душе.

Я шел по улицам города к центру, откуда раздавались бравурная музыка духового оркестра и крики людей, славящих долгожданный день Победы. Чем ближе к центру, тем больше людей на улицах. Обычно пустынный город вдруг стал таким населенным. Оказывается, много живет народу в Комсомольске. И все военные годы люди эти находились больше на работе, в цехах заводов, у мартенов, у станков, в доках, где строились корабли. В годы войны рабочий человек чувствовал себя неловко, если ему приходилось в разгар дня идти домой по случаю болезни или отгула после недельной невылазной работы, работы почти без сна, когда готовился к «сдаче» очередной «объект».

И вот сегодня высыпали тысячи людей на улицы и площади. Они пели, кричали здравицы, обнимались. И каждый в эти минуты чувствовал себя причастным к великому делу Победы и гордился необыкновенно.

Впервые в свободном доступе для скачивания настоящая книга правды о Комсомольске от советского писателя пропагандиста Геннадия Хлебникова. «На пределе»! Документально-художественная повесть о Комсомольске в годы войны.

Если книга вам понравилась у вас есть возможность выразить доступную материальную благодарность наследникам писателя, его семье:

Карта Сбербанка: 4276 8700 1457 4177

Киви-кошелек: +7 962 296 9327

Хлебников Г. Н. НА ПРЕДЕЛЕ

Корректор: Р. Смирнова Компьютерная верстка: О. Цыганкова Обложка: В. Леватаев, В Парханюк.

Сдано в набор 29.07.2002 г. Подписано в печать 03.09.2002 г.

Тираж 500 экз.

Набрано и отпечатано в Комсомольской-на-Амуре межрайонной типографии.

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 55.